

ВЛАДИМИР ЛИЧУТИН

Проза Русского Севера



Груманланы

Венчание с океаном

Проза Русского Севера

Владимир Личутин

Груманланы. Венчание с океаном

«ВЕЧЕ»

2026

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)

Личутин В. В.

Груманланы. Венчание с океаном / В. В. Личутин — «ВЕЧЕ»,
2026 — (Проза Русского Севера)

ISBN 978-5-4484-5842-2

Груманланы – так называли себя поморы, жители Кольского полуострова и побережья Белого моря, ходившие на кочах к архипелагу Шпицберген (Грумант) для рыбного промысла и охоты. Жизнь их была полна опасностей и приключений, часто приходилось им зимовать во льдах и бороться с морской стихией. Немало и погибало смельчаков в суровых испытаниях холодом, голодом и цингой. Народ слагал о них мифы и легенды, историки и антропологи составляли трактаты. Трилогия Владимира Личутина объединяет и дополняет и труды ученых, и народные предания. Первая книга трилогии была издана ранее под названием «Груманланы».

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4484-5842-2

© Личутин В. В., 2026
© ВЕЧЕ, 2026

Содержание

Часть первая	6
1	6
2	8
3	25
4	30
5	38
6	46
7	51
8	59
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Владимир Личутин
Груманланы. Венчание с океаном

**Проза
Русского
Севера**

Серия «Проза Русского Севера»



© Личутин В.В., 2026

© ООО «Издательство «Вече», 2026

Часть первая

Земля зловещей старухи и черного пса

*Душа – вещь непременная.
Она видит раньше глаз и слышит глубже ушей.*

*У воли нет границ.
Граница свободы очерчена властью государства.*

1

Груманланы – поморы-промышленники и морепроходцы, «сидевшие» по берегу Ледовитого моря от Колы до Ямала, в краю суровом, таинственном и древнем, чьи страницы судьбы скрыты за временем, за семью печатями. «Для них не заказаны пути-дороги ни сушей, ни водой».

За внешней затрапезностью, убожеством и «дикостью» жизни глубоко спрятана особенная русская натура, которую и хотелось бы распечатать «чужебесам», чтобы сокрушить и повязать Русь: вот и подступаются с немилостивой затеей тысячу лет, но никак не могут окончательно сладить с Россией, обложить непокорников несносимой данью.

«Мужики-поморцы цену себе знают. У моря живут, рыбачат. Ручишши-то порато сильны. Эдаку работу проворачивают – тяжела, грязна, холод, сырость» (из разговоров).

Наверное, по сравнению с простонародной «говорей» выпенренно звучат мои поклоннические признания, но за высокой оградой высокого «штиля» невольно скрывается от глаз иноземца непонятная несхожесть народа Богородицы на все иные племена, подступающие с угрозами со всех концов света; даже я, выросши на Мезени в глубине поморского племени, дожив до преклонных лет, так и не проникся вольным первобытным духом родичей, словно бы явился на свет не в северном куту приполярья, а был подброшен, как кукушонок, в чужое гнездо.

По словам историка С.В. Бахрушина, «в XVI–XVII веке известные русские – это выходцы из поморских городов и уездов, прилегающих к Печорскому пути, в первую очередь поморцы, живущие близ Белого моря, открывшие Новую Землю, Грумант, Колгуев, Вайгач, Обь, Енисей, Лену, Таймыр, Индигирку... Таков упоминаемый в мангазейских делах Мотья Кириллов, который был по морю “староходец и знатец”; пинежанин Микитка Стахеев Мохнатка, которому “морской ход за обычай”; таков и Левка Плехан, пинежанин, который ходил морем в Мангазею еще при царе Борисе. Или сын его Клементий Плехан, упоминаемый в 1633 году».

В то время, когда дневники Г. де Фера наполнены «полярными ужасами, страхом перед белыми медведями», русские поморы запросто брали белого медведя на рогаину... Спутники Баренца собирались охотиться на моржа с пушками, а наши охотники брали моржа «на затин», метая в зверя гарпун.

Своей смелостью, ловкостью и искусством охоты на белого медведя поморы так поразили полярного путешественника Барроу, что он с восхищением описал мужество русских мореходцев в своих дневниках... Именно подобных груманланов и советовал Михайло Ломоносов адмиралу Чичагову набирать в экспедицию: «Принимать в полярное плавание тех, кто бывали в зимовках, в заносах, терпели нужу и стужу; которые мастера ходить на лыжах, бывали на Новой Земле и лавливали зимою белых медведей, а также знали языки тех народов, которые живут по восточным берегам сибирским».

...И вот нынче пишу я, несчастный, накручиваю ожерелья слов и с досадою вижу, отстраняясь от письма, как они приблизительны, мои признания, и, будто опутенки сокола-

слетыша, вяжут, терзают мою душу, не дают разгореться чувствами, – и оттого понимаю, как фанфаронюсь, вдруг возлюбя себя преизлиха, теряю искренность. Когда мы отстраняемся от природы, то невольно становимся на котурны, чтобы сообщить о себе, и тогда выглядим вычурными и нелепыми в глазах других, не замечая того.

Но, главное, братцы мои, подавить растерянность, не отступить от затеи, но, пусть и через силу, тянуть ту медовую паутинку родства через слабеющее сердце с надеждою, что разум не подведет, не покинет меня. Ведь «слово слово родит», и вместе с новым образом, может, и откроются высокие смыслы, досель скрытые от меня.

С этим чувством верховенства души над плотию, я, пожалуй, и приступлю к завещанному труду... Бог в помощь!

2

Особенной теплотой отличались тексты Бориса Викторовича Шергина. Он писал книги поклончивой душой: хотя плоть его мучилась хворьями десятки лет, сердце страдало, но душа пела о Боге, которому был по-сыновьи предан до конца дней. Земные радости жизни обошли писатели стороною, но вместе с болезнями непрестанно досаждали заботы о близкой родне и хлебе насущном. Не так гнетуще бередили хвори телесные, наверное, с годами Шергин научился терпеть невзгоды, насколько было возможно, доверяя муки свои исповедальным заметкам на случайных клочках бумаги, что попадали слепому под руку: но «хлеб насущный», о котором молил Бога, появлялся в доме скудно.

Борис Викторович смиренно превозмогал нужу и стужу и невольно пространный душой своею преображался в русского «груманланина», истово преданного морю Студеному, того бывальца-сказителя прежних лет, которым так дорожили зверобои в бесконечные зимы: баюнки ублажали, крепили душу зверобоев сказаниями о жизни человеческой, давали надежду на счастливый исход промысла. И получали за свое «вранье» в дополнение к уговору еще половину артельного пая... За сказителя кормишки шли «наперебой», чтобы залучить к себе на становё... Старинщики-былинщики высоко ценились у мезенских зверовщиков.

...Шергин в русской литературе, пожалуй, единственный волхователь, толковщик, учитель и духовник; он незримо переносил спасительный урок евангелических текстов в само суровое содержание жизни и одновременно крепил, утешал и свое шатнувшееся в насаде сердце, когда уверял себя в тишине сиротской кельи коммунального прозябания: дескать, грешно православному быть в радости, когда весь русский народ лежит в несчастье (тогда шла война с Гитлером и решался «русский вопрос»). Вот эта немеркнущая, невидимая миру скорбь и делала душу Шергина теплой, отеческой, а строки сказаний – проникновенно-ознобными, по-христиански утешными для простеца-человека.

Но в пятидесятые годы Шергин как бы «миновал» Советскую Россию, никак не внедрился в простонародье, знать, время его еще не настало, а столичные образованцы-«чужебесы» деловито гуртовались вокруг западной культуры, с азартом дожидаясь хрущевской оттепели, открыто презирали «диревню и скобарей», все, что пахло «смазными сапогами, квашеной капустой и русским духом». После войны Шергин остался не у дел, вне национального бытия, как непонятный сказочник, «смешной юрод», прошак с зобенькой по кусочки: вот и власти зло напустились на Шергина, предали его охулке, обвиняя в искажении и порче русского языка, перестали издавать, и писатель на долгие десять лет погрузился в тьму нищеты и забвения, откуда обычно уже не выбираются на белый свет, и слух о Шергине как необычном литераторе едва сочился сквозь книжные завалы «соцреализма». То ли уже преставился пропащий человек, то ли где-то тащится чудом по бездорожице, по дикому засторонку.

...А нынче многие из господ-письменников (бобровых шуб), кто прежде чурался, боясь угодить в черные списки иль брезговал даже руку подать поморскому сказителю, вычеркнуты из людской памяти: но имя Бориса Шергина в поклончивых святцах у земляков, да и в Москве писатель совсем не чужой, а в Архангельске ему выставлен памятник на поклонение.

Каким-то чудом, по чьей-то подсказке в 1968 году я, начинающий архангельский журналист, разыскал Шергина в столичной убогой коммуналке на Рождественском бульваре и был неожиданно очарован его светлым радостным ликом и ничего скорбного не нашел в слепом человеке: и этот образ волхва, помора-груманлана, храню на сердце до сей поры как драгоценный дар судьбы, вспоминая постоянно, удивляясь мужеству и терпению истинно поморской натуры, с достоинством пронесшей свой крест страстей. Вот почему, затеяв работу о груманланах, я в первый ряд синодика подвижников, русских полярников (неожиданно для себя) вдруг подверстал Бориса Шергина, отец которого ходил капитаном по северам, а вот сын его,

художник и сказитель, ни разу не плавал на лодье по Ледовитому океану и не зимовал на Груманте и Матке.

Вернувшись в Архангельск, написал газетную зарисовку о чудесном вещем старце, потом не однажды перепечатывал, ничего не добавляя, но лет через пять, когда вдруг занялся литературой и поморская история притянула к себе, я и наткнулся на эту быль – легенду Бориса Викторовича Шергина «Для увеселения», ныне вошедшую в русскую литературную классику...

Речь идет о мезенских поморах – братьях Личутиных, по божьей воле угодивших в печальную историю в канун Семена-летопроводца. Ловили они рыбу невдали от Канина носа, а промышляли со своей тони, с каменной корги, крохотного островка, где сидели не первый год. Взяли рыбы, сколько попало в рюжи, заторопились – пришло время бежать домой. Как-то скоро заосенело, заподували ветра, и тишинка стала в редкость. Сносили промысел в карбасок, потрапезничали отвальное и повалились перед дорогой отдохнуть. Да и заснули. Ничто вроде бы не предвещало беды, море едва колыбалось, слабый дождь-ситничек сеялся. Карбас стоял на якоре в берегу меж камней. Уснули у костерка, христовенькие, в добрых душах, не ведая несчастья. А оно приходит, обычно, когда не ждешь. И тут засвистел с протягом полуночник, загремел, разбойник, налетел вихорем и сорвал карбасишко с якоря, унес в голомень. Братья спохватились, только всплеснули руками, посунулись к воде, окатило взводнем, сбило пену с гребней волн, понесло водяную пыль по ветру, кинуло в лицо. В миг пропало суденко в дождевой бухтарме вместе с промыслом, кладью и съестным припасом. Сохранился на каменном островке лишь телдос – доска от днища, на которой чистили улов, горка рыбьих костей от жарехи да ножики-клепики у опояски.

И как пишет дальше Шергин: «Оставалось ножом по доске нацарапать несвязные слова предсмертного вопля. Но эти два мужика, мезенские мещане, были вдохновенными художниками по призванию. В свои молодые годы трудились они на верфях Архангельска, выполняли резное художество. Старики помнят этот избыток деревянных аллегорий на носу и корме. Изображался олень и орел, и феникс, и лев, а также кумирические боги античной мифологии... Вот такое художество было доверено братьям Личутиным... Увы, одни чертежи остались на рассмотрение потомков...»

В силу каких-то семейных обстоятельств вернулись в Мезень, занялись морским промыслом. На Канине у них была становая изба. Отсюда и напускались в море на заветный корг.

Тут и прилучилась беда страшная, непоправимая. Каменный островок лежал в стороне от морских путей, да и по осени неоткуда было ждать спасения. И братья рассудили так: «Не мы первые, не мы последние. Мало ли нашего брата пропадает в отношениях морских. Если на свете не станет нас, мезенских мещан, от того белому свету перемены не будет».

«...Не крик, не проклятие судьбе оставили по себе братья Личутины. Они вспомнили любезное сердцу художество. Простая столешня вдруг превратилась в произведение искусства. Вместо сосновой доски видим резное надгробие высокого стиля...»

«Чудное дело! – царапает слепой Шергин карандашом на клочке обертки, омываясь слезами, представляет родные стены, родителей за столом, покрытым белой скатертью: свет керосиновой лампы выхватывает из забвения милые, вечно живые лица. – Смерть наступила на остров, смерть взмахнула косой, братья видят ее и слагают гимн жизни, поют песнь красоте. И эпитафию они себе слагают в торжественных стихах».

«...Ондрейан, младший брат, прожил на острове шесть недель. День его смерти отметил Иван на затыле достопамятной доски.

Когда сложил на груди свои художные руки Иван, того нашими человеческими письменами не записано... Достопамятная доска с краев обомшела, иссечена ветром и солеными брызгами. Но не увяло художество, не устарела соразмерность пропорций, не полиняло изящество вкуса. Посредине доски письмена – эпитафия – делано высокой резьбой. По сторонам резана рама-обнос с такою иллюзией, что узор неустанно бежит. По углам аллегорий тонуций

корабль; опрокинутый факел; якорь спасения; птица феникс, горящая и несгорающая. Стали читать эпитафию:

«Корабельные плотники Иван с Ондрейном
Здесь скончали земные труды,
И на долгий отдых повалились,
И ждут архангеловой трубы.
Осенью 1857 года
Окинула море грозна непогода.
Божьим судом или своей оплошкой
Карбас утерялся со снастями и припасом,
И нам, братьям досталось на здешней корге
Ждать смертного часу.
Чтобы ум отманивать от безвременной скуки,
К сей доске приложили мы старательные руки!
Ондрейн ухитрил раму резьбой для увеселенья,
Иван летопись писал для уведомления,
Что родом мы Личутины, Григорьевы дети,
Мезенски мещане.
И помните нас, все плывущие
В сих концах моря-океана...»

...Капитан Лоушкин тогда заплакал, когда дошел до этого слова – «для увеселенья». А я этой рифмы не стерпел: «На долгий отдых повалились».

* * *

Стоит, наверное, подробнее рассказать о Личутиных, в старинные годы появившихся в Окладниковой слободе, когда в устье реки Мезени, где стояло зимовье сокольников-помытчиков «Соколья Нова», в конце XV века появился новгородец Окладников с пятью сыновьями, с иконой Спаса нерукотворного, и зарубил слободку. Икона долгое время кочевала по семьям, потом попала в староверческую пустынь в устье реки Хорговки в келью отшельника, а в 1663 году ее перенесли в Спасскую церковь Кузнецовой слободки.

Окладникова слобода за шестьдесят лет выросла, заселилась народом, несмотря на голодные годы, бесхлебицу: поморы покидали слободу, порою надолго, укореняясь в Сибири, некоторые возвращались обратно. При царе Алексее Михайловиче в слободу на Мезень доставили протопопа Аввакума. Он не прекращал борьбы за истинную веру и много поморов вовлек в беспоповщину. Через три года ссылки неистового протопопа отвезли на оленях в Пустозерский острожек, посадили в полуземлянку на хлеб и воду, а жена Аввакума с детьми стала дожидаться мужа в Мезени.

И чем беспощаднее прижимали затворника в юзах, тем суровее, яростнее к противникам Христа становилась его душа, призывая под свою руку тысячи сторонников по всей Руси. Тогда и возникло поморское согласие, живет и поныне, как напоминание о былой мужественной русской натуре, а чем заканчивается отступление от истинной веры-правоверия, мы хорошо помним по русской истории. Шатания в вере обычно кончаются разбродом в государстве, народной смутю и угасанием внутреннего духа, цементирующего народ. И если протестанты, «лутеры, папезники и кальвинисты давно сдались под власть «денежной куклы», не испытывая особых волнений, то русское племя по-прежнему живет в состоянии духовного поиска.

В царской грамоте 1552 года упоминается «Сокольня слободка Окладникова». В жалованной грамоте Ивана Грозного 1562 года она присутствует как «Окладникова слободка».

Никто тогда и не помышлял, что новое становище на берегу Ледяного моря-океана станет кормильцем русского племени, сыграет огромную роль в становлении русского государства. Что все московские государи с Ивана Калиты будут держать это крайнее богатое промышленное место под крепким неусыпным доглядом, ибо из мрака ночи забытых Богом морей и тундр в русскую казну потекут неиссякаемые золотые ручьи (соболей, песцов, моржовой кости, сала кож, мамонтовых бивней (заморная кость). С годами род Окладниковых расширился до окраин Сибири, наверное, поутратил, позабыл нити родства, а слободка при правлении любвеобильной пышнотелой немки Екатерины II получила звание и герб города Мезени, хотя внешне ничего в ней не переменялось.

Вот и в соседях у нас, прижавшись к нашему огороду, стоял дом Окладниковых, обитали в нем тетя Маня, портниха, военная вдова с детишками: мы жили мирно, а приятелем по улице был ее сын Вовка по прозвищу Манькин (ныне покойный). Был он добродушный, щекастый, губастый, смекалистый, с вечно улыбочливой, какой-то счастливой физиономией, – хороший такой друг, не привереда. По фамилии в нашем околотке никто не звал, просто Вовка Манькин. Только в верхнем конце, наверное, пять семейств Окладниковых, но никогда в общении не вспоминали, что городишко Мезень затеял их предок, боярин из Великого Новгорода. Никакого отсвета от знаменитой фамилии, отлички, особого почета, похвальбы даже в хмельном угаре, когда после очередного стакана браги гулеван «выпадал в осадок» и готов был догуливать под столом... В такие вот минуты и развязывается язык.

Но тогда русской древней истории не чтили даже после победы «над немчурой». Это считалось дикой блажью, ибо вся русская земля от Бреста до Амура еще в достопамятные времена была нашей, хотя и заселена издревле «якобы» уграми и финнами так полагали ученые, опираясь на летописи. Какая русская история? Рыбных потрошков объелись? Угорели? Беле-ной отравились, шуты гороховые? Своей славы возжелали, непутные бестолочи? – внушают нам ежедневно. Дескать, протрите зенки, несчастные, гляньте окрест, и вы увидите, что ничего нет русского, каждая болотинка, павна, озерцо, горушка и ворга издревле освоены финнами и уграми, а значит, и жили вы столетиями в чужом месте и теперь пора съезжать. Так вопят оборотни со всех углов.

В моем детстве никто ничего не делил, одна мысль жила в народе: вот оборонились, положили нехристя на лопатки, провалиться бы ему к чертям в тартары, а теперь как бы до утра протянуть и не околет с голодухи. Хлеба бы только наестись досыта, слава Богу, сломали войну, одолели врага. Чудо-то какое, Господи! Не передать словами этой душевной радости.

На безжалостной терке истирали наше национальное сознание, неистово задували даже случайные малейшие искры «мерзопакостного» русского национализма, этого горячего бессознательного охранительного чувства, поселяющегося в груди еще в младенчестве с молоком матери, с ним и выстраивается характер, поклончивый родине. Нет, оно не потухает, его не подавить никакими бедами, оно не отпускает души до преклонных лет, пока бьется горячее сердце. Но как бы становится стыдно восклицать о любви к родине, гордиться ею вслух, и тогда оно прячется в груди до времени или остывает навсегда. Но упертые потаковники дурному и временщики постоянно притравливают народ, цепляют за живое, стыдят и упрекают, не дают покоя, впрыскивают в душу корпускулы яда и сомнения, неверия в нашу самобытность, словно бы ты чужими речами говоришь и грызешь чужую корку. Истирая самобытность, гордость за Россию, любовь к родимой земле, что начинается сразу за порогом и уходит в окоем, а оттуда в райские пажити к самому Иисусу Христу – и это все мое, просит поклона и защиты... невыразимые в словах. Оттого, что их невозможно ладно и цельно высказать, они не уменьшаются в своей необходимости и силе. Но словесная немота и излишняя деликатность выкраивали русского человека порою излишне неловким в поступках, нелепым в словах, скромным

в житейских благах, над чем беззастенчивые мародеры и потешались. Душу загружала растерянность, постоянно беспокоил вопрос, а по-божески ли живешь, не забрал ли чего чужого, не вырвал ли кусок изо рта, не брякнул ли в застолье лишнего, и, оглядываясь на глум, робкий нерешительный человек постепенно теряет врожденные качества, становится покорным и жалким, потерявшим природную гордость. И прежняя уверенность в своей силе сходит на нет, и пропадает жертвенная решимость вскинуть голову за други своя, трусость окончательно покоряет, и ты кончаешься, как Христов воин.

Когда помор обреченно, с тоскою встречает невзгоды, значит, в душе его умер груманланин и он теряет желание жить; другое дело, когда человек встречает беду смиренно, как христов урок, который надо вырешить, не глядя на выпавшие на твою долю невероятные тягости; он не скулит, не плачется понуро в жилетку, не складывает вину на плечи другого, и не только сам побарывает лихо, усевшееся на горбину, но и побуждает к этому усилию и других. В этом урок сказа Шергина «Для увеселения».

Откуда и когда явились в Поморье Личутины, теперь трудно сказать, но уже при Петре Первом один из Личутиных был ратманом Окладниковой слободы, имел лодью и коч, ходил на Грумант и Матку; Когда Ломоносов собирал поморцев в экспедицию адмирала Чичагова 1765 года, то кормщиком на бриг «Панов» был приглашен мезенец Яков Дмитриевич Личутин как особенно сведущий в морских делах, опытный зверовщик, бывалец на Груманте, Матке, Вайгаче и Шарапах (Шараповы Кошки). А в первую русскую экспедицию выбирал сам Михайло Ломоносов, расспрашивал, чтобы не ошибиться в человеке, заранее разглядеть его характер и способности, чтобы не угодить впросак в серьезном государственном замысле, ибо от кормщика зависела не только судьба всего похода, но и участь моряков; Ломоносов выбирал из лучших груманланов, приглашенных в Петербург, не только знающих Ледовитый океан, но зимовавших на островах, умеющих ладить с аборигенами и даже знающих «самояцкий язык».

В 1792 году в зимовке на Новой Земле скончались от цинги 42 мезенца, среди них четверо Окладниковых и четверо Личутиных. Тяжелые были те годы для груманланов; тогда же погиб и кормщик Михайло Личутин, его именем назвали гранитный остров возле западного берега Новой Земли, покрытый мхом, лишайником и крохотными желтыми маками. На этом острове однажды пережил внезапную метель мой друг белорус Роман Мороз: строитель, водолаз и страстный путешественник, на крохотном самодельном паруснике ходивший не только на Матку, но и к Аляске, на Диомидовых островах поставил «ответный» православный крест, дошел до Сан-Франциско и там тоже воздвиг двухсаженный русский крест – памятник отважным русским поморам-груманланам, открывшим Америку в XVII веке.

Есть предположение историков, что два коча из девяти из отряда Дежнёва – Попова разбило в проливе Аниан (Берингов) и выкинуло (в 1648 г.) на острова к «зубатым» эскимосам ниже легендарного мыса Табин (теперь на этой гранитной скале стоит памятник моему земляку с реки Пинеги Семену Ивановичу Дежнёву). Поморы Скифского океана, – среди них были мезенцы, и пинежане, – срубили зимовье и стали жить, дожидаясь белых голубоглазых гостей. Лишь через сто лет после открытия пролива между Азией и Америкой приплыли отважные поморы, привели эскимосов под русскую корону, срубили острожек и открыли торговую факторию. Северная Америка на сто лет стала русской землею.

Мореходы Личутины происходили от родов: Лазаревичи, Тазуи, Назаровичи и Боюшковы. Лазаревичи и Назаровичи жили в Окладниковой слободе, а Тазуи и Боюшковыч – в Кузнецовой. Самоеды из Тазовской губы однажды напали на Окладникову слободу и увезли с собой ребенка: он вырос в чуме, женился на самодинке и с детьми вернулся на родину. От него, по преданию, и пошли Личутины-Тазуи. Михаил и Василий Личутины, погибшие в 1790 году на Матке, жили в Кузнецовой слободке и были из Тазуевых, к этому роду принадлежал погибший в ту же зиму 1790 года Никита Сидорович Личутин, а скончавшийся от цинги кормщик Семен Никифорович Личутин жил в Окладниковой слободе. А всего в ту

зиму отдали Богу душу 42 промышленника, и рукой священника Киприянова записано: «Были погребены в 1790 году без надлежащего надгробного священнического отпевания, будучи на Новой Земле за промыслом оставшимися своими сотоварищами». Но погибшие числились в раскольниках-беспоповцах поморского согласия, в «никонову антихристову церкву» к исповеди не ходили уже многие годы, и покрученников, воздвигших помянный крест над могилою на гранитном берегу, это нисколько не удручало (острову было дано имя сорокалетнего кормщика Михайлы Личутина, только что оштрафованного архангельским архиепископом на 24 рубля; наверное, этот Михайла Личутин пользовался уважением в среде мезенских мещан не только как знаток Ледяного моря, но и как старообрядческий начетчик).

Из того похода на Матку вернулись домой 46 промышленников и рассказали о случившейся трагедии. Можно представить, какой горестный прощальный вопль плачем разлился тогда над Мезенью.

Богатую жатву собрала цинготная «старуха-маруха» со своими юными сестрами.

По преданию, на месте становища Соколья Нова новгородец Окладников с сыновьями в устье реки Мезени зарубили в середине XVI века выселок, чтобы заняться зверобойкой. Прежде чем съехать в Заволочье, Окладников заручился от царя Ивана Грозного грамотой на владение лукоморьем. Ему давалось право «копить на великого государя слободы и с песков, и рыбных ловищ, и сокольных и кречатых садбищ, давати с году на год государю оброки». Так на месте зимовья, где погодно жили помытчики и сокольники, ловившие птицу на Канской земле для царской охоты, появилась Окладникова слобода как начало грядущего города Мезени. Но, наверное, промышленное становье появились в устье реки гораздо раньше, еще во времена великого князя Московского Ивана Калиты, отобравшего земли Великой Перми и Печоры у Великого Новгорода. А коли дорога за Камень шла по Мезени и притоку ее Пёзе, через наволоку в Усть-Цильму, где стояли кушные избы и лошади, чтобы перетаскивать из Пёзы на Цильму карбасы, легкие кочи и грузы для промыслу, если еще в те старопрежние времена кречеты и соколы от Ледовитого моря были в особой цене и шли в подарок от русского двора в Персию, Бухару, Хорезм и Египет, то уже в те годы сидели в устье реки Мезени помытчики со своими семьями и отлавливали на Канине соколов-слетышей и приваживали их к руке, чтобы в береговых плетухах, обернутых в рогозы, доставить лошадьми по зимнему пути в столицу к московскому князю Ивану Даниловичу Калите на потешный двор...

Еремей Степанович Окладников, купец-старовер, судовладелец из Окладниковой слободы, неустанными рискованными трудами на звериных охотах приличного капитала, в середине XVIII века имел «в услужении три семьи самоедов, 15 душ канинских и мезенских ненцев. В 1743 году Еремей Степанович снарядил свою лодью на сальный промысел на Грумант. Судно было затерто и раздавлено торосами, а спасшиеся четыре груманлана прозимовали на арктическом острове Малые Буруны (о. Эдж) шесть лет и три месяца. Их приключения, напоминающие бедствие Робинзона Крузо на необитаемом тропическом острове, получили по всей Европе широкую огласку неповторимым мужеством и силой духа русского помора (об этом позже). Чтобы закончить страничку о возникновении города Мезени, припомню, что позднее в двух верстах от Окладниковой слободы на высоком угоре возле Большого Шара, выпадающего из реки, возник выселок Кузнецова слободка. Укоренились на моховой бережине промышленники Сопочкины. Фамилия коренная, поморская, произошла от понятия «сопец» — руль судна. Сопочкины имели кочи и лодьи, ходили для звериного промыслу на Матку и Грумант. Афанасий Сопочкин, как и Михайло Личутин (оба известные полярные походники), погибли на Новой Земле в 1790 году.

Именным указом Екатерины II от 5 января 1780 года Окладникова и Кузнецова слободы слились в приполярный город Мезень и получили государственный герб: по золотому полю бежит рыжая лисица.

Сначала Соколья, где жили помытчики, стояла верстах в пятнадцати по Мезени, называлась Лампоженская слободка, выстроилась при Иване Калите на речном заливном острове: почему ставили заимку в столь незавидном месте, нам неведомо и никогда не узнать. Только лет через двести государеву сокольню перетащили на новое место – к устью Мезени. Может, там (в Лампасне) было безопаснее вываживать соколов-слетышей, ставить на крыло, менее было у сокола возможностей при напуске на птицу, поднявшись в небесный аер, вернуться в родное гнездовье на Канин, Вайгач, на Матку. Но когда московский князь Калита, собирая казну, с молодым задором забрал под себя Печору, устье Оби, обложил данью Пермь, чтобы купцы везли в московскую казну чудское серебро и скифское золото – река Мезень и Пинега обрели особое значение для государственной казны. Две приполярные реки вдруг выпятились на всеобщее рассмотрение и заставили говорить о себе в приказах Кремля как о неиссякаемых угодьях московского двора, богатство которых невозможно измерить. О великом будущем Поморского края еще мало кто задумывался, вся история Скифской Руси была в тумане, события двигались осторожно, на ощупь, но вот сел на престол первый царь Иван Васильевич Грозный и, прозорливо взглянув на Сибирь, невольно понудил русских поморов зашевелиться. И с великой охотой ринулись мои предки на неведомый Восток, где, по сказкам лихих «людишек», сулился «золотой дождь» и счастливая жизнь...

«Около 1326 года новгородцы и двиняне опять ходили в Скандинавию. Они тогда уже владели морской дорогою от Скандинавии до Печоры». Видоки, новгородцы и дети архиепископа Василия в 1316 году прошли из Колы к Мурманскому Носу (Нордкапу) обогнули его, побывали в Галогаланде и были отнесены жестоким штормом к северо-западу. В 1347 году Моислав Новгородец и сын его Яков ходили на северо-восток на трех судах. «И всех их было три юмы, и одна из них погибла, а две их потом долго носило ветром и принесло к высоким горам». Так описывает то путешествие архиепископ Василий. – «И свет был в месте том самосиянен, яко не мощи человеку исповедати: и пребыша не видеша, но свет был многочасный светящийся паче солнца. Моислав и Яков трижды посылали своих спутников на высокую гору видети свет. Один из новгородцев умер. Моислав и Яков побегоша вспять, ибо им не дано было дале того видети светлости, тоя неизреченные».

Картину северного сияния можно считать древнейшим описанием этого явления.

В 1328 году новгородский наместник печорской стороны Михаил Фрязин выходил на судах в Ледовитый океан добывать моржовую кость и тюленей.

Высокие горы, упомянутые архиепископом Василием напоминают Новую Землю. «Послание Василия Новгородского» содержит достоверные сведения о приключениях новгородских мореходов, покорявших «Дышающее море» до Соколиных гор Югры. Василий Новгородский соорудил в Софийском соборе Новгорода медные вызолоченные Царские ворота и огромные паникадила, на которых были отлиты из бронзы и покрыты золотом сказочные полужвери китоврасы. Кентавр, увенчанный зубчатой короной, украшал медные зеркала (медали), что были обнаружены в Поморье в разных местах. Этих китоврасов лепила из глины каргопольская игрушечница Ульяна Бабкина: зеркало с китоврасом обнаружили на Таймыре в поклаже безымянных поморцев, потерпевших аварию в начале XVII века. Знак китовраса сопровождал древнерусских мореходцев. Как мне помнится, мифического полужверя китовраса вышивали мезенские женщины на полотенцах и подзорах, вывязывали на рукавицах и шерстяных носках.

Письменные упоминания Ледовитого моря начинаются с начала второго тысячелетия, а куда же деть первое тысячелетие, когда апостол Андрей Первозванный пришел крестить Русь еще при жизни Иисуса Христа и по возвращении на родину, совершив путешествие вокруг Европы, был распят на косом кресте. Об этом летописцы отчего-то умалчивают, не вспоминают ни церковь, ни русская история о великом подвиге апостола, открывшем монастырь на Вааламе и крестившего население Киева, Полоцка, Словенска, народы по Дону и Днепру. Андрея

Первозванного высоко чтит великий царь и первый император Иоанн Васильевич Грозный, которого чужебные поклонники Петра I сронили и стоптали в беспамятство.

* * *

Иван Калита начал движение на Восток, присоединив Пермь, Чердынь и низовья Оби, где затаилась легендарная Золотая старуха с ребенком на руках, роженица мирового народа и мать человечества. Похитить Золотую бабу пытались норвеги, шведы и южные варяги, почитатели бога Сварога, но Святую мамку надежно пасли волхвы и прятали в затаенных зачурованных местах. И до сих дней нет вести, сыскали ли ее воинственные норманны, чтобы переплавить на золото.

Дорога на Печору была известна издревле русским промышленникам: по рекам Мезени и Пёзе, мимо Варшинских озер к верховьям Цильмы, где на волоках в дымной кушной изобке кучились «пёсские гулящие» парни, чтобы летом таскать клади на горбине и кормить-поить сменных лошадей, заготавливать сено, мох-ягель и веточный корм для скотины, ловить рыбу и бить зверя для своего харча: а зимою на тех конях-мезенках и на оленях тащили по волоку малые речные кочи, шитики, карбасы и лодки-однодеревки, меновой товар для ярмарок, оружие и промысловый снаряд. Переваливались на Цильму, весною спускались в Устье к Пустозерску и на Ямал, где самоедь и угры, выдавленные алтайскими скифами от родовых мест из Саян к устью Оби, привыкали к новой жизни – пасти оленей, охотиться в таежных лесах и бить зверя, – и вдруг были обложены ясаком, по пять соболей на самодина: другие же охочие государевы людишки и двинские купцы поднимались вверх по Печоре до порожиистой Усы, оттуда пытаясь дойти до Ледовитого моря, по ней пехались на шестах через Каменный пояс до Ямала, где в потаенной скрытне пряталась Золотая старуха, великая мать всех матерей мира.

Иван Калита не забывал о Ледовитом море и Скифском Севере, где, по словам арабских путешественников, живут красивые белокурые голубоглазые мужики и жёнки: ведь с тех мест везли на Москву соболей, моржовую кость, белых медведей и песцов. Калита посылал указ в Холмогоры двинскому посаднику, чтобы тот не препятствовал печорскому наместнику в зверобойных путях промыслять соболей, куницу, песца и боровую птицу. По указу 1363 года можно узнать, что «Се аз Князь Великий Дмитрий Донской пожаловал есмь Андрея Фрязина Печорою, как было за его дядей Матфеем за Фрязиным».

Лампоженская слободка сокольников тогда уже стояла. Грамоту приводит в своей книге исторических находок «Земной круг» замечательный поэт, писатель, этнограф и путешественник Сергей Марков. Познакомился я с Марковым, когда учился в Москве на высших литературных курсах.

О писателе Маркове, удивительном русском этнографе, в те поры я даже не слышал и ничего не читал у него. И как-то не «запнулся» об удивительного скромного русского географа, прошел мимо (значит, был еще не готов к литературе). А когда взялся за его труды, Марков вдруг умер, однако оставив в моей памяти, в истории Отечества и Мезени незамирающий след.

Так вот, грамоту эту Дмитрий Донской посылал печорянам, а значит и мезенским помытчикам, что ловили сетями соколов и кречетов в «стране Мрака» на гранитных склонах Каменного Пояса, Ямала, Колгуева, Вайгача, Канина, Матки... Велел им слушаться во всем Андрея Фрязина.

Весной 1496 года (при Иване III) бояре Иван и Петр Ушатые обошли Мурманский Нос и высадились с войском на скалистых берегах угрюмых фиордов, невдали от Ботнического залива. Стрельцов не остановил гибельный сулой у Святого носа, где сталкиваются разбойные встречные воды: этот дьявольский котел заманил и потопил в водовороте изрядно поморских кочей, идущих на моржовый промысел к берегам Груманта. Этим походом русских войск были возвращены земли между Торнео и Скифским морем. Венецианский посол Пьетро Пускуалито

сообщал из Лиссабона, что мореходы Кортириала привезли с собой обитателей новой страны, похожих на цыган, смуглых, кротких и боязливых людей с раскрашенными лицами, их нагота была едва прикрыта звериными шкурами. Эти люди жили в стране лососевых рек и корабельных лесов. Пьетро полагал, что обитатели новой земли будут неутомимыми работниками и превосходными рабами. Во вновь найденной стране водятся большие олени с длинной шерстью и соболи. Там летают стаями (как воробы) прекрасные соколы... Видимо кто-то из европейцев наслушался «сказок» мореходцев, проникших в устье Оби, где затевался Мангазейский острожек, а Симеон Курбский на Печоре основал в те же годы Пустозерскую таможеню...

Иван Третий укреплял рубежи Московии. В том же 1499 году или около того новгородский купец Окладников с сыновьями зарубили в устье Мезени рядом с Сокольней Новой первую избу будущей слободки. Иван III выстраивал пограничные рубежи, открывал ворота внуку своему Ивану IV Грозному, чтобы тот подклонил под Москву всю бескрайнюю Сибирь. Что первый русский царь Иван Васильевич и сделал, когда послал на восток описывать границы русского государства...

Заложив Пустозерский острожек, обнеся его листовым чесноком, Семен Курбский, не дожидаясь большой вешней воды, отправился на Обь напрямик, через Уральский Камень, где до князя не хаживал никто. Покрытые вечным льдом вершины Урала Сабля и Тельнос были неприступны. Боярин трижды поднимался на Саблю и безуспешно спускался с полпути к подножью. Смирив гордыню, Курбский отказался от невыполнимого намерения и с огромным войском в пять тысяч мушкетеров, с обозом в тысячу лошадей, измотавшись в походе, все-таки пробился через заснеженное ущелье на Сосьву и занял городок Ляпин. Сюда со своими отрядами, прослышав об успехах московского воеводы, пришли югорские князи и приняли московское подданство. В Ляпине рать Курбского встала на лыжи. Пошла вглубь Югории и заняла тридцать укрепленных засек. В Ляпине к рати Курбского примкнули и отряды Петра Ушатого....

* * *

Мне трудно представить, какая была Окладникова слобода в шестнадцатом веке. Я помню Большую слободу (так мы звали родной город Мезень в начале 1950-х годов). Была Большая слобода и Малая (Кузнецова), между ними лежал большой прогал мшистой ляговины, в низине было местное кладбище, потаенное, ничем не выдающееся. Зимой Мезень заваливало снегом, не успевали огребаться возле дома, как снова заметало по застрежи; через улицы натоптаны глубокие бродные тропы по самым рассохи. Помнится осиянный день, глубокое с сединою небо щемит глаза, мороз склеивает заиндевелые ресницы, губы, треплет за уши и нос, снег скрипит под катанцами, когда спешишь по мосткам в классы или продлавку за харчем, и столько крахмальной белизны вокруг, столько ядреного шипучего воздуха, которого нельзя глотнуть в полную грудь, потому едва прихватываешь через норки носа, принакрытый скукоженной от дыхания варежкой. Избы сутулятся заметенные снегом под самые дымницы, окна заиндевели, поземка струит по дороге, бьет под коленки, сыплет на шапку вороха с деревьев и огрузнувших крыш... Нынче такого ядреного мороза с ветром-хиусом и столь пыльного, обильного снегопада, пожалуй, и не посылают небеса много лет, и не случается, наверное, такой завирухи, несущейся по поскотине прямо в лицо, готовой опрокинуть тебя навзничь, сбить с лыж, когда, подавшись грудью вперед, едва пробиваешь заметель, увертывая глаза...

...Нынче я городской сиделец, и житейские заботы по очистке двора уже не по мне, года к земле клонят. Это уже теплое воспоминание о зиме детской поры, от которого сладит на сердце, и муторная надоедлая война со снегом забыта в подробностях, или вспыхивает иногда в памяти, как цветная почтовая открытка из детских лет, когда каждая телесная жилка на вырост, так и просится на схватку, и заряды, эти всплески метели в лицо лишь вызывают восторг и беспричинный смех: хочется орать в полную силу, срывая с губ зальделую варежку...

Разве думалось тогда, а каково мезенцу-походнику в такие минуты в тайге на охоте, на дальних островах Груманта в зимовейке, на стану, в разволочной избе, в кипящем море, если застанет случай на твою беду среди напирających льдов, готовых раздавить твою хлипкую беззащитную скорлупку. Подобные картины пока не приходят ребенку в ум, хотя и суровый мезенец-промышленник в детстве, конечно же тоже испытывал в метель подобное беспричинное счастье, если был уверен, что не затеряешься в пурге, и дом за спиной, почти рядом, в часе ходьбы...

* * *

А весной и осенью Большую слободу заливало грязью. Сразу за окнами бабушкиной половины избы начиналась Малоземельская тундра, куда я с малых лет бегал за ягодами, а напротив нашей комнатенки за мутными стеклами маячила проезжая дорога (Первомайский проспект) по которой мохнатые лошади-мезенки тянули телеги с кладью в «верховьские» деревни, и ободья колес, проваливаясь по ступицы, с натугою месили жидкий суглинок. Мужичонко в лысой шапенке и потертой на локтях фуфайке, или в тулупе, потягивая махорную сосулю, сутулился на передней грядке, свесив ноги в кожаных котах и задумчиво уставясь в никуда, наверное, в этом великом спокойствии не замечал захвостанные грязью лошадиные стегна и круп и редко, покорно вздрагивающий обрезанный ребятнею гнедой хвост (конский волос шел на сила для пулонцев и на куроптя).

Темные понурые избы, потерявшие зимнюю снежную украсу, грустно сутулились по сторонам проспекта, уже не дожидаясь никаких перемен. Они не торопили время, как-то сразу остарясь, словно были рублены во времена царя Гороха, хотя были довольно молоды летами, но вот эта улица в дорожном жирном пливуне невольно подкидывала им возраста. Хозяева большинства домов остались в окопах, а вдовы бедовали, уповая лишь на будущие перемены, когда оперятся их Пашки и Малашки... Мутная бухтарма в небесах, сизая наволочь по-за лесами, дождь-ситничек уж который день кропит и лишь усугубляет всеобщую картину мирового уныния, той тоски от бессмысленности затрапезной жизни, от чего не спрятаться, но которая подвигает энергичного человека к жертвенным поступкам. И даже не верится, что у Окладниковой слободы было великое прошлое, и оно, братцы мои, не сотрется за временем, не потухнет, как отражение пламени, но будет всегда с деятельным человеком, как живой пример, останется на веки вечные, пока жива Русь. Только бы не забывать их благородные поступки, не превращаться в «Иванов, не помнящих родства».

...Перебираясь на другую сторону сосед, деловито примеряясь, поджидал, когда проползет телега, и кидал в пливун доску и, напряженно ступая, пересекал дорогу, чтобы не опачкать блескучие галоши и, поправив шляпу, отряхнувшись, будто зная, что за ним следят, шел на службу по Чупровской улице на Советский проспект. Эти сцены я видел каждый день в разных концах слободы, картины были будничны, ничем не удивляли и не убивали красоты родной Мезени. Большая слобода была единственной на весь белый свет, и краше, милее ее не сыскать. До окончания школы я нигде не бывал. («А чего не знаешь, о том не мечтаешь, о том не жалеешь». Таково неизменное свойство души.)

«Не верьте внешнему, – говорю я себе, уповая на силу духа и воли. – Ибо внешнее лживо, непременно выдаст внутреннее предательство».

* * *

Замечательный писатель-этнограф Сергей Васильевич Максимов оставил свои впечатления о Мезени в книге «Год на севере» в красках самых черных. На первых же страницах книги, наверное, не ознакомившись с великим прошлым Окладниковой слободы, Сергей Максимов

пишет: «Беглыми из Сибири и острогов преступниками и московскими раскольниками населились ближайшие к Мезени леса и селения».

Уже эти утверждения, не имеющие под собой ни капли правды, разочаровали меня в Максимове, которого я любил как редкого в России писателя. Да тот ли это литератор, что по крупницам собирал факты из простонародной жизни и тем самым невольно удивлял нас, несведующих в глубинах собственной истории? Если столько придумки в первых абзацах, то сколько чуждого, поверхностного и вовсе чудного обнаружится в его сказках о народе, которые он выдавал за подробности из русского быта.

Беглецов и преступников в наших лесах не бывало, ибо им не ужиться в студёных затишках, никак не прокоротать зиму без помощи, а северные крестьяне не терпели воров, нечистых на руку беглецов и разбойников с большой дороги, не поваживали и воров, а сразу тащили в мирскую избу на правёж. Да, они могли подать милостыньку каторжанину, которого вели в Сибири за караулом, пожалеть несчастного, закованного в железа, но если встречался на Северах или в Сибири беглый, бесконвойный, бежавший на волю, сострадательный мужик сразу отдавал его под начало полиции, чтобы не дурил на свободе и не натворил греха. Таково было правило деревенского мира в Поморье... Никто на Мезени не воровал, не грешил легкой наживою, замков мы не знали, ещё на моей памяти дверь не запирали, а ставили к ободверине батожок. Если палка у ободверины, значит, хозяйка в соседях, можете заходить в избу и располагаться; если ключка подпиральная сунута в дверную дужку, значит, хозяйка уехала в другую деревню и скоро ждать её не стоит. Максимов, видимо, эту подробность не знал.

Далее Сергей Васильевич пишет нечто подобающее для исправника, которому приказали искать преступников, а они вот тут, на меже за слободою: «Преступниками московскими и другими раскольниками населились ближайшие к Мезени леса и селения...»

Да, Беломорье издревле было гнездовьем и оплотом беспоповцев поморского согласия истинной Христовой веры, где учителем был мученик протопоп Аввакум. Да, были века гонений, когда государевы власти, отступившие от истинной церкви, раскололи её, предали гонениям и костру. Тысячи добрых христиан, верных ревнителей Христа, были вкинута в огонь императором Петром I и немкою императрицею Екатериной II. Только в Палеострове сожглись добровольно 3500 мучеников. В ответ на сопротивление власти обложили крестьян двойной и тройной невыносимой налогою, притесняли на каждом шагу. Поморцы объявили императора Петра «антихристом Первым» и оказались правы. Лишь в конце девятнадцатого века как-то криво, сумрачно и неискренне церковные власти попросили у староверов прощения за века гонений. Они, конечно же, понимали, что неправы, вздев на грудь крестьянина ярмо чужой веры, что жуткая печать раскола отныне лежит на их совести: это Никонова церковь повинна в многочисленных русских горях, когда, не в силах отказаться от правоверия, истинные христиане пошли в костер, на великие добровольные муки, этим трагическим актом доказывая силу поморского духа и искренность настоящей русской веры. Это был воистину высокий национальный подвиг во имя русского Христа, с визгом осмеянный прислугою двора и чиновниками от церкви. Но этот подвиг добровольной жертвы повторили русичи в мировой схватке с сатаною в 1941-м, когда бросались с гранатою под танк, закрывали телом амбразуру, направляли самолет на вражеский эшелон, таранили истребитель противника. Ещё в XVI веке поморские староверы почуяли гибельную сладость «ереси ветхозаветников», что в XV веке захватила фарисейскими речами княжеский великий стол, и новые еретики так плотно окопались под сенью престола, что и через пятьсот лет после смерти Ивана Васильевича Грозного не сыскалось в Москве той силы, чтобы совладать с сатанинской гидрою, прогнать вон в Боровицкие ворота...

Мне вдруг показалось, что Максимов написал о Мезени как-то зло, без капли жалости, как бы затворив для неё свою грудь: подобного от него я раньше не замечал. И вот, перечитывая, получил ожог души: «Все бедное событиями прошедшее города Мезени, который мрачно

глядит теперь своими полуразрушенными домами, своими полусгнившими, непочиненными церквями. Ряды домов, брошенных без всякой симметрии и порядка, наводят тоску. Все почти дома пошатнулись на сторону и в некоторых местах даже надломились посередине и покосились в противоположные стороны. Съезды, выходящие по обыкновению всех русских деревень на улицу, здесь обломились и погнили: ворота, которые давно когда-то выпускали на эти съезды бойкую лошаденку когда-то на улицу из породы мезенок, как-то глупо, бесцельно торчат высоко под крышей и наглухо заколочены. Навесы над длинными задворьями обломились и самые стены этих дворов рухнули, сгнили, а может быть, и истреблены в топливе. Мостки возле домов также погнили и, непоправленные, провалились... Банями глядят дома бедняков, остатками Мамаева разгрома-дома более достаточных; но три кабака новеньких: но казначейство непременно каменное... По улицам бродят с саночками самоедки, с детьми в рваных малицах, вышедшие от крайней бедности на «едому». Из туземцев не видать ни души: может быть, холод, закрутивший 28 градусов, тому причиной...» (С.В. Максимов, 1856 год).

Более беспощадно и мстительно невозможно написать о Мезени, моей родине, оставившей по себе в истории России жертвенные страницы о созидании страны, их невозможно засыпать пеплом умолчания и небрежения, ведь это и мои дальние предки-груманлане увеличили почти в пять раз русские земли, наполнили казну, не получив за тяжкие труды ни капли благодарности, хотя и их непосильными трудами живет нынешнее Отечество. Оттого так скверно, безрадостно и выглядит полузабытая Мезень, описанная Максимовым в холодном пренебрежительном тоне: потратив на устройство двух столиц все силы, будто была стожильная, былую молодость и реки крови, заселяя Сибири поморским народом, покидая родимые края, быть может, навсегда (так позднее и случилось), нынче ждет протянутую руку помощи, ответной благодарности за содеянные труды, жальливое чувства сострадания и государева внимания. Использовали Окладникову слободу и выбросили на свалку истории, как пропащую ветошь.

И Максимов оскорбительно тычет пальцем в сторону мезенцев, обвиняет в лени, косности и непроходимой тупости: это, видимо, месть столичных властей поморским староверам за их стойкую верность истинному православию, за протопопа Аввакума, за очистительные костры, полыхавшие от реки Пезы и Выга, до Тобольска и Томска. И тут от легкости чувства, от небрежности к хранителям исконной русской натуры, к наследникам скифов, когда-то пришедших из Палестины к Ледовитому морю, в Гиперборею – и вдруг возникли эти легкомысленные строки о Мезени... от столь почтенного писателя, которым мы зачитывались. Что с ним случилось, какая муха укусила, когда выносил на бумагу стариковскую блажь:

«Нашему народу, – продолжал старик (Гаврило Васильевич долго жывал в Архангельске на купеческих конторах), – плетть надо хорошую, чтобы горохом вскакивал. Наш народ – лентяй, такой лентяй, что вот если заработал на год одним промыслом, за другим не потянет руки и с места не подымет. А вот встанет на перепутье-то и начнет гоготать: ведь это дело легче, спорное это дело, особенно с голодухи! И добро бы ребята малые, али молодые, а то ведь у иного борода с лопату и вся седая – и он туда же. Вот и вспомнишь пословицу: борода-то, мол, выросла, а ума с накопыльник не вынесла» (с голодухи-то слезы роняют, а не гогочут на росстани. – В.Л.)...

Тут Сергей Васильевич выражал общее либеральное мнение тех лет, когда после реформы Александра II городские интеллигенты двинулись в деревни исправлять «освобожденного» от земли крестьянина, учить уму-разуму и хорошему поведению, но, увы, скоро разочаровались в мужике, в котором и для себя мечтали открыть нравственные вековые законы от Христа. Судя по стилистике этнографического очерка, это не поморы ведут умные речи, а Сергей Максимов вкладывает свои мысли в голову мужика, чтобы читатели подивились уму старика, которого писатель отыскал на берегу Белого моря. Но Запад уже глубоко и навязчиво вошел в самую плоть и стал иначить душу той благополучной жизнью, что вдруг, как манна с неба, посыпалась на протестантов: да никакой манны не просыпалось с неба, это воору-

женные жестокие соседи, ворвались в чужой дом, и пользуясь силою, ограбили его, пролили реки крови и ныне не вспоминают о бедах Ближнего Востока, Китая, Индии, Африки и Америки. Не осталось ни одной «жаркой шафрановой земли», которую бы они не ободрали как липку, не наскребли в бездонную свою «пасть» золотых яичек, кинув народы в бездну крайней нищеты. И русским «западникам», этой прорве ненасытной саранчи, отравленной либеральными баснями, вдруг повиделось, что их будущая вольная жизнь в Европах досталась им от Бога: дескать, сам Христос им особенно мирволит, ибо жители атлантических берегов бесконечно умны и поставлены Господом владеть райскими палестинами, а поверив в сон золотой, крепко ульнули в тенетах зависти, ловко выставленных дьяволом.

Опасно безоглядно отдаваться чужому, презирая свое, пусть и лапотное, кушное, бедное и невидное: возникает болезнь «чужебесия», и неожиданная злая напасть вдруг проникает в каждую волють болезного и обрушивает его национальное здоровье, незаметно подтачивает душу и завладевает ею, как главной крепью человека. Ведь человек – это душа, завернутая в кожу; порою он долго упирается, не сознавая, что угодил на галеры сатаны и быть ему рабом до скончания века; он еще не догадывается, что глубоко заразился и вовсе пропал; что больше мертв, чем жив.

Дьявол силен в деталях. И когда, делая вроде бы важное дело, вдруг начинаешь хулить безотчетно свой народ, дескать, он и дурен, и ленив, и нет гаже его никого на всем белом свете, забывая его судьбу, значит, в эту минуту вы уже играете на волынке сатаны, дуете в его дуду, уже подневольны бесу, наивно подмигивая ему.

Сергей Максимов обозвал Мезень «Мерзенью, самым отвратительным городом России». Может быть, это прозвище – мелочь? Дурная мысль вскочила, не спросясь, в башку и на минуту овладела ею? И Максимов безотчетно посмеялся над русским городом, ничего не обещая ему. Вот здесь-то и дает себя знать «чужебес»-потаковщик. И надо было преподавать ему доброй науки. Но в книге «Год на Севере» оказалось столько всего нового, неожиданного, с такой занимательной стороны приоткрыл писатель далекий северный мир для горожан, что эти слова «о русской лени» как-то не задели, обошли читателя стороною. Привыкли, значит, самих себя покорно охаживать плетью... И ведь никто не задался мыслью, что ленивый-то мужичонко и с неделю бы не прожил в суровом Беломорье: околел бы на печи иль удавился. На Русском Севере могут жить только зараженные на работу люди, исполняющие монастырское правило: «Человек рождается для работы. Трудись – и твоя жизнь протечет незаметно».

Но вот что писал через семьдесят лет об Окладниковой слободе истинно русский человек, этнограф, писатель и поэт Сергей Марков, будучи в сталинской ссылке. Время, не самое подходящее для лирики.

Поморская жёнка

В ясный день от народа сторонкой
Ты проходишь, задорно смеясь,
Не с такой ли поморскою жёнкой
Жировал новгородский князь?
Что ж? Томи горделивым весельем
У высоких тесовых ворот!
На лугах приворотное зелье
Не для каждого, знаю, растёт.
И напрасны наветные речи!
Знаю я, что совсем ты не та,

Не для каждого эти плечи
И малиновые уста!
Ты приносишь и радость и горе,
Понапрасну тобой позабыт,
Рыжий штурман в серебряном море
За стаканом плачет навзрыд.
Моряки сожжены синевою
В честь привета и ласковых слов,
Над твоею шальной головою
Поднимались сто выпелов
Белый дым, за рекою пожары,
Умирает веселый день.
Разжигает свои самовары
Белобрюхая наша Мезень.
Пусть шуршат на лукавой дороге
В тесной горнице половики.
Бьется сердце, слабеют ноги,
Окна темные далеки.
Жаркий шепот щекочет ухо.
Мир, весь мир сейчас на двоих;
Тишина. За стеною старуха
Повторяет раскольников стих.
Ты смеешься задорно и звонко,
Манишь в бор – собирать голубень.
Ты одна, родимая жёнка,
На вселенную всю и Мезень.

(1932 г.)

Сергей Марков в 1932 году по надуманному делу «Сибирской бригады» был сослан в Архангельск, а оттуда в Мезень. Срок отбывал в 1932–1936 годы.

Из автобиографии Маркова: «На работу меня в Мезени пристроил Коршунов, мой земляк-костромич – маслодел и сыровар. Повстречались с ним в плавании на “Канине”, и Коршунов завлек-таки меня в свой Маслопром. Надо было высчитывать проценты жирности, а я с математикой со школьных лет не ладил и больше двух недель там не продержался. Пошел в местную газету “Маяк коммунизма”, стал писать заметки по разным поводам местной жизни... Если бы я не жил и не дышал чудесным Севером, я бы не создал роман “Юконский ворон”, “Вечные следы”, “Земной круг”, книгу о Дежнёве и многие стихи». Как восхитительная Россия у ссыльного Сергея Маркова, жившего в Мезени, как все поморцы, отличается от ироничного взгляда Максимова на жителей приполярной Мезени и ее незавидную судьбу. У Маркова осталось очарование на всю жизнь. Мезень стала для него благословенным духовным причалом:

Или ты в архангельской земле
Рождена, зовешься Ангелиной,
Где морские волны с мерзлой глиной
Осенью грызутся в звонкой мгле.
Зимний ветер и упруг и свеж,
По сугробам зашагали тени.
В инее серебряном олени,
А мороз всю ночь ломился в сени,

Льдинкою мизинца не обрежь.
Утром умываючись в Мезени.
На перилах синеватый лед,
Слабая снежинка упадет —
Таять на плече или реснице...
Посмотри! На севере туман,
Ветер, гром, как будто океан
Небом, тундрой и тобою пьян,
Ринулся к бревенчатой светлице.
Я узнаю, где стоит твой дом!
Я люблю тебя, как любят гром,
Яблоко, сосну в седом уборе,
Если я когда-нибудь умру,
Все равно услышишь на ветру
Голос мой в серебряном просторе...

(«Знаю я – малиновою ранью...» 1940 г.)

У Максимова – к простецу-человеку неприязнь и раздражение. И ведь оба художники. Только Марков глядел в глубину души, всматривался в историю, видя там чудесные романтические черты, а Максимов скользил внешним взглядом созерцателя, принимая, отыскивая какие-то своеобразные оттенки северного быта, отличные от центральной России, но увидел лишь всеобщий разор и убогость.

Вот первые впечатления Максимова о Мезени:

«...Тоскливее ее я не встречал во всех своих шестилетних долгих и дальних странствиях по Великороссии. Жалка своим видом давно покинутая Онега, но Мезень несравненно жалче и печальнее... В Мезени танцев нет: карты поглотили там все свободное от службы время. Женское население из чиновного класса так же застенчиво, так же дико смотрит и боязливо, неохотно говорит со всяким новым лицом... Женщины этих мест отличаются от двинянок неуклюжестью. Она выражается в толстых, как обрубки деревьев, нижних конечностях, в большой ступне, в неуклюжем, опухшем малокровном теле... Все это уродство (уверяют) зависит от болезненного чрезмерного развития брюшного чрева...»

Откуда Максимов с первого дня смог выглядеть ноги мезенских баб, если в середине XIX века на севере женщины были стыдливы, богомольны, не позволяли себе на людях особой вольности, в будние дни носили для тепла 6–8 юбок, поверх длинный косоклинный староверческий сарафан (особенно зимой), меховую телогрею, или шугай, катанки, шубу или малицу с маличной ситцевой рубахой, чтобы не замерзнуть на пылком морозе, так что трудно понять метафору Сергея Максимова, сравнившего ноги мезенской девицы (хвленки, княгинюшки, государыни, боярыни, лапушки, песельницы, подружки, невестушки, беспечальницы, голубеюшки, косатой голубушки, девоньки, красавушки – так окликали, величали на поморском берегу девушек на выданье) с обрубками деревьев. Действительно, вздев столько одежд, чтобы не заморозить себя, они выглядели на улице несколько кургузо, только для наезжего, постороннего человека из столицы показались бы они смешными, но иначе ведь на северах не спастись от стужи, там не до красоты-басы; для мезенских это было в обычай и не выглядело нелепым.

Именно северные женщины-поморки славились своей красотой, силой духа и независимостью.

Я не хую Максимова, он был замечательным писателем, при советской власти почти позабытым, хотя и занимался простонародьем, характером и бытом русского человека, и когда при Советах мужик якобы взял власть, именно Сергей Васильевич и был выкинут из литературного оборота, и прошли долгие годы, пока редкий по таланту писатель вернулся в умы

и занял подобающее место в литературе. Максимов был чиновником-либералом по особым поручениям, как бы миссионером, открывающим властям полузакрытые слои населения, населяющие империю. Вдруг обнаружилось, что Кремль и Синод худенько знают своих подданных, и потому можно ожидать от них всякой «пилюли». Да, московские власти подозревали «тайный кукиш», но прозевали народную выходку как плату за долгие годы нравственного насилия. Революция 1917 года не была неожиданностью, она варилась и приготовилась и искипела прямо на глазах у властей... Дальше рассуждать на эту тему нет смысла, ибо свершившаяся история, увы, ничему не научила...

Интересуясь народом, Максимов оставался барином, да и вел себя как барин и превосходства перед чернью не скрывал. И мужики это понимали и порою давали знать, что видят в путешественнике не пару себе и всегда готовы оказать ему почтение и поклониться в пояс, не теряя при этом поморской горделивости, и не скрывали, что барин занят шутейным делом, но коли за него дают подорожные, лошадей, карбас с гребцами, да еще при этом платят хорошие деньги, значит, человек при почете и нужном наверху деле. Максимов брезговал мужицкой едою, воротил нос от рыбы с кислым душком, от их рыбацких сапогов, смазанных ворванью, от плисовой рубахи, обтерханной в морских ездах, от их заросших волоснею морщиноватых заветренных скоро стареющих лиц. Но он их слушал со вниманием и тут же записывал, чтобы не упустить подробностей, удивлялся неожиданным метафорам, меткости и красоте языка, и, видя неподдельный интерес к их жизни, поморы вдруг распахивали душу, разговаривали с Максимовым независимо, но охотно, и многое доверяли ему. Поморы понимали, что с ними беседует человек другого склада, и видя, как он брезгует крестьянской едою, однако из учтивости все равно приглашали к трапезе, на уху из соленой трески и к той же жареной треске с кислым печорским душком, так любимой и ныне на Мезени.

Еще в моей молодости мурманскую треску ела вся страна, это была самая дешевая рыба, и казалась она безвыводной, что будет всегда, – и вот наша родная дешевая еда стала в редкость, вздорожала в 1990-е годы в десятки раз, ибо барышники, почуяв выгоду, повезли треску к чужому столу, на Запад и Восток, а в родной стороне оказалась, родимая, за редкость....

Сергей Марков, прибыв в ссылку, очаровался Поморьем и сразу уловил историческую величину Окладниковой слободы, ее значение в судьбе России и в первые же дни по приезде, в тридцать втором году, написал вдохновенно:

...В избах ранние огни,
На закате легкий холод.
Руку дружбы протяни,
Приполярный древний город.
На волне косая тень
Корабельного бушприта.
Жизнь, как дальняя Мезень,
Велика и необжита...

Маркова из мезенской ссылки «достал» Максим Горький. Молодого литератора перевели в Архангельск, и с той поры он «угорел» Севером.

Борис Викторович Шергин, создав книгу «Океан-море русское», стал душеприказчиком груманланов.

Сергей Марков написал «Юконский ворон» и «Земной круг» – это замечательные плоды его героической жизни. Посвятив поморам-груманланам большую часть своей жизни, Марков невольно стал летописцем Ледовитого моря. Его «Земной круг» объял большую часть мира, сковал нерасторжимою цепью далекие земли и племена: читая столь многосложную книгу, только диву даешься, откуда у Сергея Маркова взялось столько сил вызволить из плена архив-

ных завалов давно позабытых морских скитальцев, оживить их и отправить в новое плавание по нашей жизни...

У русского народа, как и у всякого кочующего племени, творящего свои земные круги, очень долгая, сложная, захватывающая судьба, увы, до сей поры спрятанная умышленниками за семью печатями.

Смею предположить, что до Рождества Христова русским скифам-пеласгам принадлежали три моря и океан; о том говорят мировые географические карты: Русское море (ныне Черное), Сварожское, оно же Варяжское море (ныне Балтийское), Скифское море (ныне Северное) и Скифский океан (ныне Ледовитый).

Волею судеб русские – древнейшие мореплаватели. Нам неизвестно, какие корабли строили русские скифы-пеласги, когда плавали по теплым морям, Атлантике и Индийскому океану, но суда, конечно же, соответствовали манере и уровню судостроения раннего Средневековья. А когда русские скифы потеряли южные моря и Балтику, Европа и Ближний Восток заперли наш народ на Русской равнине и в Гиперборее, вдоль скалистого камня, рассекающего Европу и Азию. На Скифском океане (Ледовитом море) прежние корабли оказались не нужны. Для плотных льдов и торосов пришлось создавать новый флот, в чем русские и преуспели, хотя для этой науки, наверное, потребовались сотни лет. Появились кочи, лодьи, шняки, раньшины, карбаса, приспособленные ходить в мелких губах и устьях порожистых рек, по изменчивым коварным руслам, среди корг и камешника: любопытные, схватчивые умом, не боящиеся смерти поморы стали писать свои лоции, создавать науку мореплавания в Ледовитом океане, и когда Европа обзарилась Китаем и Индией, то сразу угодила впросак. Теплое море, куда для легкой наживы и новых рабов так стремились бритты, и даны, и свеи, попасть через Ледяное море оказалось для них сказочным миражом и легендой. Весь британский и шведский опыт мореплавания на югах не годился на русских Северах, этой задачи не сразу понял и сам великий Михайло Ломоносов, хотя был родом с Подвинья и плавал с отцом к Новой Земле. Но два года жизни в Европе оглушили новизною русского молодца, а красота бригов и корветов скружила голову, и по приезде на Русь Ломоносов даже попенял русским, что они замшели головою и занедужели душою, не умеют строить кораблей по европейским лекалам и плавать, как они. Но лет через пять Ломоносов вернулся в русский ум и повинился пред грумманланами в своих сомнениях и стал нахваливать поморов за мужество и науку хождения во льдах.

А Европе пришлось, кроме бригов и корветов, строить пузатые кургузые русские лодьи и кочи с экипажем в 15–20 матросов, чтобы завладеть Ледовитым морем, отнять его у России. Однако сотни лет шведы и британцы дальше Вайгача и Матки протиснуться на Восток так и не смогли, застряли на Шараповых Кошках: пришлось заимствовать русский опыт плавания по Скифскому океану. Когда Баренц подошел к Матке, пытаясь обогнуть ее, на мысе Желания уже больше ста лет мокли под дождями русские промысловые избы и поклонные православные кресты. Вот и на Груманте «норвеги» появились лет через двести после мезенских и кольских мужиков, хотя, казалось бы, земли скандинавов совсем рядом со Шпицбергом.

3

Культура строительства северных судов возникла не в один день, хотя, казалось бы, совсем рядом в Европе давно клепают всякого рода каравеллы, столь изящные, что обзави- дуешься: на это и повелся наш гений Михайло Ломоносов, пару лет поживший в Германии: вернувшись домой, поначалу нос задрал, давай хулить поморские суда, земляков, вредные их привычки, отсталость в покорении морей, казалось, совсем забыл отцовы науки, когда гла- зами прильнул к внешнему, привез из Германии жёнку, острогался, приочерствел сердцем и давай поругивать поморца: дескать, и растяпа-то он, лапотник, даже сапогов толковых не может сшить, бродит в бахилах по рассохе, вот и не хватает ума, чтобы изладить на архангель- ских верфях корабль по европейским лекалам. Но, когда собирал первую русскую экспедицию адмирала Чичагова, Ломоносов подбирал кормщиков на Мезени и Пинеге как лучших знато- ков Ледовитого океана, у иных старых годами поморов брал сведения, просил совета.

Мореходец Дмитрий Откупщиков поведал о себе: «От рождения ему 80 лет, ходил за звериными промыслами шестьдесят лет, сам за старостию уже три года не промышляет, а про- мысел имел больше около Новой Земли по западной стороне, Югорском Шаре, а также на острове Вайгаче и в Шарапах, до которых от острова Вайгача с добрым ветром идти надобно сутки на ост, а сколько числом миль или верст подлинно, сказать не может, где сутки ходу, думаю верст 250 будет и больше. А за теми звериными промыслами ходил на шитых кочах длиною девять сажень, шириною три сажени, глубиною в полном грузу полтретья аршина. А для осмотра берега, где имеются неизвестные и опасные места, до реки Оби безопаснее быть шитым кочам, токмо вверху дек укрепить, как у регулярных морских судов, когда от северных ветров наносит льды и суда затирает... вышел на лед, и стегами судно вынимают на лед, а мор- ским регулярным судам помочи учинить не можно...»

Никита Шестаков (из Архангельска) объявил о необходимости взять для провизии морошки, чесноку, уксусу, луку вареного и несколько умеющих самоедскому языку (толмачей).

Но корабельная наука возникла из глубинного, тысячелетнего знания нравов Ледовитого моря, требовалось возлюбить его, встать вровень, глаза в глаза, не отводя взгляда, прикипеть сердцем, подружиться с ним, досконально познать, прощать обиды и несносимые горя, когда море забирает немилостиво к себе, не злобиться на кормильца, дающего хлеб насущный, нет. Русский скиф приник к морю «не с бухты-барахты», дескать, сел за весла и гребь, куда глаза видят, вода подскажет и притащит...

Сколько было положено трудов многих поколений, чтобы из однодеревки-душегубки создать красавицу лодью, способную с честью выходить из морских передряг! На осинолке из речного устья не сразу рискнули выскочить, железные ворота захлопнутся и потопят. А когда сшили коч можжевельными корнями да поставили ровдужный парус (из оленьей кожи), тут и смелость пришла, и рискнули посмотреть в морскую голомень, где пылит волна... и снова минули века, пока-то русский азартный мужик, насмелась, оторвался от пуповины, от родного угора, где на вечные времена оставлял жёнку с детишками, – вот тогда-то и родились бабы плачи, вопы, горячие сердечные молитвы, обращенные к богу Сварогу еще в дохристовы вре- мена. А когда совсем обрадел помор и притащил с Груманта первую богатую наживу: моржовое сало, «рыбий зуб», шкуры белых медведей, песцовые меха и гагачий пух, тогда и родился в поморе бесстрашный груманланин, задружившийся с Белым морем, и сотни кочей, лодий, карбасов, лодок припустил к себе Скифский океан; и лишь тогда, гонимые алтайскими кочев- никами, из Саян пришли по Оби угро-финны и, укоренившись в пермских диких лесах, на Вятке, в устье Оби и в тундрах у Ледовитого океана, стали столетиями вживаться в новый быт – пасти оленей, охотиться в тайге и ловить в море рыбу, чего прежде не умели. Они – само- дины, ханты, манси, селькупы, печора, угры, весь, мотора, мегора – долго привыкали к суровой

земле, где полгода зима и мало солнца, но много снега, ветра и воды, мириады гнуса облепляют человека живым гнущим покровом, и некуда от комаров деться.

...Но в летописи не попадают эти подробности народной жизни, монахи в монастырской тишине, в глухой келеице, при свете душной сальницы исполняют послушание, заносят в рукописные книги случайные вести от бродячих калик переходящих, всякие слухи от торговцев, боярские события, сказки, легенды, отражения междоусобных распр и смертоубийств, кончины великих князей, выдержки из редких мирских книг и священных писаний, но чернецам неведомо, как живут поморы, откуда в монастырском светильнике взялся столь вонючий жир, густо пахнувший рыбою, «хоть святых вон выноси», где и как его добыли, с каких островов привезли, ибо таким скверным хлебом, напополам со мхом и половой, кормили летописчика и не давали иноку для совершения исторического подвига даже сальных свечей... а этот жир в тусклой копилке, едва разбавляющий мрак келеицы был вытоплен на морском берегу из сала моржа, добытого на Груманте. О том, что русские открыли в Скифском ледовитом океане огромный остров и назвали его Грумантом, арабы узнали раньше московских князей.

* * *

До сих пор не знаем мы, кто такие русское племя, откуда явилось, когда и с какою сверхзадачей: если евреи – Божий народ (как уверяют они), то русские скифы – народ Богородицы. Так толкует Русская православная церковь. Не странно ли, исчезли с лица земли сотни племен, широко известных в истории, порою народов победительных, героических, стяжавших под свою власть государства и целые континенты – или знакомые по своей малочисленности лишь узкому кругу ученых: словно и не бывали на веку – только древние географические карты подтверждают их появление под божий свет и скорое исчезновение. А тут крохотное племя по самоназванию руги, роги, рутены, росы, пеласги, савроматы, словене, скифы, роксоланы и др., как с неба просыпалось однажды (утверждал философ Лев Гумилев) и так же неожиданно источилось, провалилось сквозь землю, оставив по себе лишь название – россы. И все! Даже плесени не осталось на земле, так уверял нас, наивных, влюбленных в родную землю, сын Анны Ахматовой, сын знаменитой поэтессы. Ну, всякие на свете случаются казусы и нелепости, сморозил глупость бывший сталинский лагерный сиделец, может, из ненависти к русскому народу, в отместку за победу Иоанна Васильевича Грозного над Татарией запоздало посмеялся, пошутил для радости чуженина и успокоился, слава Богу. Ведь неглупый был человек, имел талант ученого и мужество, в нем текла кровь замечательного русского поэта и воина Гумилева, расстрелянного Троцким...

А куда деть Русскую равнину от Урала до Эльбы, город Переяславль на Дунае, который задумал победительный великий князь Святослав как столицу великого русского государства; а легендарную Трою, где сидели в осаде русские скифы; Русское море (Черное море), которое нынче хотят снова отнять; великое русское королевство со столицей в Ростове Великом за 15 веков до рождения Христа; а Гиперборею, Сибирь и огромное Русское государство – шестую часть суши, на которую волнами накатываются чужебцы (неандертальцы) и не могут одолеть, с шипением откатываются от наших берегов в свои чуланы; а великий Новгород, история которого старше Рима на две тысячи лет; а Скифский Ледовитый океан, а Русская Скифия от Валаама и Полоцка до Белого (Молочного) моря, а как потушить Полярную звезду, что светит над Русью и указывает путь всему человечеству, и обрушить алмазную гору Меру как прибежище и основание русского духа?

Как накатило завистливое племя «кайдалово», еще при великом русском императоре Иоанне Васильевиче с неумною жадностью топтать русское царство под свою пята, да так и застыли злодеи нараскосяк, словно прикованные невидимой цепью к великому мировому дереву: лают и лают, неумные, несытые, забирают их лихоманка.

* * *

Если вся мировая история ведется по письменным источникам, черепам, могильникам и глиняным черепкам, то изустной истории, географическим картам, легендам и бывальщинам веры никакой нет; словно бы до письменного упоминания ничего не происходило в национальной жизни, ни смуты ни войн, никто не прихаживал за данью и не уводил в полоны, если происшествие не попало в письменное предание, не увековечено на бумаге; никто из племени не существовал и не бедовал, солнце не творило над горизонтом свои круги, стояла такая темень, словно люди вымерли и закончил народ свой поход в мировой истории; живое время скукожилось и остыло или потекло назад волею летописчика...

И оттого, что какие-то случайные люди запечатлевали историю нашего народа, а мы приняли ее за истину, столько оказалось неправды в писаниях, столько оговорок, бреда и блуда на письме, столько фантазии, пошлости, умышленного зла, отсюда и разорчарование от нее, вот и появилось много охотников переписать предание; неведомый никому приказной служка, писарь или дворецкий по наказу князя заносили событие, или сам великий князь пожелал приложить руку к синодику, – таким и сохранилось происшествие для потомства, зависящее от здоровья боярина, настроения, от состояния дел в его владениях и просто от погоды, стоящей в тот день на дворе... отсюда столько неточностей в записях, оговорок, описок, поправок и подчисток в рукописных источниках, столько надуманного и облыжного, когда ложь так и вопит из строки самого сволочного или сквалыжного порядка.

Нет, летопись, календарь, свод, синодик имен и дат неверные, обманчивые и непутные путеводители по истории; но мы ведь им доверяем, ибо знаем куда меньше того, что занесено летописцем XI века, доверяем и невольно позволяем порочить судьбу России, ее героев, морочить голову и унижать Бога в душе... и невольно призадуматься, отчего мало веры летописям монаха Нестора, которого однажды легкомысленно мы попросили в «лоцманы» по русской истории, хотя он на эту благородную службу не напрашивался и не совался к потомкам со своими заметками, сидел в келье, провожая взглядом вечерние сутемки в зальделое оконце из рыбьего пауса, как погружаются во тьму монастырские задворки, забирают с собою хозяйственные амбары, скотины хлевы, кельи, вонные клетки со всякой монастырской гобиною, погребницы, ледники и кладовые и вдруг, наверное, подумал: Господи, вот так же изглаживается, стирается от подробностей вся моя уже опечатанная жизнь, а с нею и весь благословенный мир, в котором жил.

А был ведь Нестор грамотеем, любил великого князя и верил в правду его деяний, вот и стал записывать каждый шаг... а там и подвернулись те удивительные подробности жизни, что ежедень выются роем вокруг нас, обычно невидимые, но когда их коснулся на записях, больше созданных по слухам и сказкам, от того столько сомнений в истинности и правде, и невольно возникает у иных желание переписать русскую историю на свой лад, создать вроде бы свою, безусловно правдивую, но она, увы, будет такая же приблизительная, как история России монаха Нестора. Ведь за тысячи лет после кратких упоминаний в летописях случилось столько всего невообразимого, что не переварить даже гениальному человеческому уму...

Объявил же философ Лев Гумилев, что русские – это крохотное племя, которое в средние века пропало, оставило лишь свое название. Можно подобное мнение объяснить и так, что русских вообще не было в истории, как половцев, печенегов, угров и скифов, болгар, чуди, сиртя, мещеры, печоры! Все придумано, все легенда. «Да, скифы мы!» – воскликнул однажды Блок, и тут же наши современники, воспитанные на антиистории, возразят: «И скифов не было, и хазар, и эллинов...»

Снова уверяют доброхоты, сторонники угро-финской теории, что жил у Белого моря небольшой русский народец, ничего он доброго не сделал, никаких земель не открыл, а при-

своил то, что плохо лежало, ибо был необыкновенно ленив, водил медведя на веревке, потешая народ, а собрав в зобеньку милостыню, напивался вусмерть в кабаке, валялся под забором или грел «косье» на русской печи, вот и все, дескать, его подвиги...

А по мне, так русскому народу пятнадцать тысяч лет, а может, и более того, он появился у Райского (Ледовитого) моря и никогда эти места навсегда не покидал: а если по великой нужде (оледенение и пр.) сбивался в дорогу, то, где бы ни скитался, всегда возвращался обратно в свое гнездовье, как вещая птица лебедь к Белому (Молочному) морю, на острова Колгуев, Матку, на Грумант: тысячу лет поморы шли на восток, по прежним заповедным родовым тропам. И ученые всяких званий, прочитав эти строки, станут язвительно смеяться и крутить пальцем у виска: дескать, ну и придурок, ну и сказочник этот Личутин, где он вычитал, в каких архивах раскопал, в каких могилках перетряхнул сухояловые косточки? Увы, все эти приемы уже не помогают отыскивать истины, время рождения племени на земле и мотивы его появления; отчего у некоторых народов короткая жизнь, как вспышка солнца, другие рождаются на долгие страдания, претерпевают невзгоды, и Господь посылает им долгое проживание.

Антрополог Анатолий Богданов писал в конце XIX века: «Мы часто используем выражение: это типичная русская красота, это вылитый русак, истинно русское лицо. Можно убедиться, что в этом общем выражении “русская физиономия” лежит нечто реальное, а не фантастическое, в каждом из нас, в нашем “бессознательном”, существует определенное представление о русском типе».

Обличье русского человека, его натуру и норов в средневековье невозможно представить по глиняным черепушкам и тленным могильным останкам, но его можно распознать по былинам и старинам, по артефактам, по бронзовой скульптуре, по рисованным географическим картам, легендам, воспоминаниям бывалых, по песням калик перехожих. Только душа человека вылепливает истинный внешний образ, духовная внутренняя работа (сколько я ни замечал), особенно верно, до мельчайших подробностей воссоздает исторический национальный тип с его характерными чертами, уходящими в глубину столетий. Сама потаенная страстная жизнь помора в единстве и борьбе с Ледовитым океаном, тяжкие труды ради хлеба насущного, когда сам хлеб приобретает религиозные черты, морозы и снега, движение морской воды, суровые ветры, бездна под днищем утлого суденышка и мрак долгой зимы, конечно же обстрагивают лицо, лишают рыхлости, и вот это сухое обличье с густой русой, сседа бороною, русые волнистые волосы, обрезанные под горшок, голубой решительный взор создают особенный тип помора-груманланина. Об этом мужественно русском типе писали и арабы, скитавшиеся по северам: «У Скифского океана живут высокие голубоглазые белолицые люди, прекрасно стреляющие из лука, не боящиеся смерти, не замечающие боли. Когда в тело этого человека впицается стрела, он выдергивает ее и смеется».

Этот национальный русский тип помора-«груманланина» почти полностью выбит на последней войне, да и характер поменялся в новых условиях жизни, но некоторые родовые черты помора пусть и скукожились, но еще не испротухли, не пропали совсем. Помору нужна не только государственная «свобода», но и природная воля, чего русский человек на севере теперь практически лишен, его туго обуздали равнодушный закон и черствая рука власти.

Спутник Баренца в его путешествии к Новой Земле вспоминал в дневнике, что «русские поморы совсем не боятся белого медведя, этого страшного зверя Ледовитого океана и смело идут его убивать с одним ножом, когда мы готовы стрелять в медведя из корабельной пушки, только бы не подступаться к нему. «Увы, о духовном содержании человека вам не поведают никакие археологические раскопки, ибо душа после расставания с телом отлетела в иные неведомые миры. А вот названия рек и морей, озер и наволоков, корг, островов, сопков и таежных угодий, становищ, всего быта, лада и обряда, домашнего обихода, многочисленный русский словник, сотни тысяч метафор, художественно рисующих мир вокруг человека, характер природы, поведение в бою и в походах на зверобойку, когда каждый день полон риска и грозит

смертью, убогий сиротской быт на стану, артельное согласие на промысле, рассказы бывалых о происшествиях, байки, приключения, отношение к Богу и православной вере, к Ледовитому океану, к семье, безусловно, оживляют померклые в земле мощи, создают не только внешний рисунок поморца, но и духовное, нравственное содержание его: ведь мужественный и богобоязненный промысловик никогда не кинет товарища в беде, не оставит в гибельную минуту, но бросится на выручку. По этим качествам и подбиралась артель...

4

Груманланами назывались отважные русские мореходцы, издревле посещавшие Грумант, жившие по берегам Скифского океана (Ледовитого) от Колы до Печоры.

В XIX веке на Груманте бывал кормщик Иван Гвоздарев. Вместе с ним в зимовку 1851 года погибли двенадцать мезенцев и кемлян.

В 1826 году погиб знаменитый мореходец Иван Старостин. Род Старостина из Новгорода. Ушкуйники ходили на своих стругах с незапамятных времен. Позднее семья переселилась под Великий Устюг на реку Юг и плавала по Северной Двине.

Иван Старостин по «овету» на своей лодье отправился на Соловки на послушание, откуда впервые ходил на зверобойку на Грумант и облюбовал себе гавань Харбур, занялся промыслом белух на берегу Грин-Харбура. После смерти жены пятнадцать лет не покидал Грумант. Плавал на «Большие Буруны» его внук Антон. Рыбачье зимовье Ивана Старостина стояло на берегу Айс-фиорда у самого входа в гавань Грин-Харбур, южнее была гавань Илок-бай, но груманланы звали ее старостинской. У становья висел старинный колокол, якобы вывезенный еще из Великого Новгорода. Норвеги прозвали старостинский залив «Клок бай», что значит «колокольный». В год смерти Старостина внук Антон последний раз плавал на Шпицберген, но в 1871 году решил заново поднять дело, заселил дедову избу и подал в правительство прошение, дескать, род его промышлял на Груманте еще до 1435 года, до основания Соловецкого монастыря. Антон Старостин просил льгот от правительства, но в 1875 году умер, не дождавшись решения...

В 1898 году зимовье Ивана Старостина на Груманте и могилу знаменитого русского поселенца посетил известный русский зоолог и путешественник Алексей Алексеевич Коротнев. Он нашел лишь дряхлые останки бывшего зимовья великого груманланина на краю яркого луга, поросшего полярным маком и вереском. Коротнев писал в дневнике: «Что значат нансены, джексоны, андре сравнительно с ним! Вот бы кому открывать Северный полюс! Кто, впрочем, знает? Может, за 36 лет Иван Старостин там и бывал, посидел, покурил трубочку и вернулся назад, не зная о совершенном подвиге...»

...Судя по архивным изысканиям писателя Сергея Маркова, в 1601 году в старинном италийском городе Чезаре, принадлежавшем герцогам Урбино, вышла книга словенского ученого из Дубравника, позднее запрещенная папой римским. Автор ее Мавро Орбини утверждал, что русские открыли огромный полярный остров, который по величине превосходит Крит. Орбини писал, что русские нашли остров, уже заселенный поморами, остров лежит в семистах верстах от восточного берега Гренландии, но это расстояние не пугает русских зверобоев.

В 1576 году в Коле жил русский кормщик Павел Нищец, ежегодно плававший на Грумант в начале июня и возвращавшийся домой до морозов. Датский король Фридрих II нанимал его проводником в Гренландию.

Амос Корнилов первый раз плавал на Грумант в 1737 году и был там пятнадцать раз. Он и спас Алексея Инькова с товарищами, угодившими в беду и зимовавшими на острове Эдж шесть лет и три месяца (о. Малые Буруны).

Мезенец Федот Рахманин ходил на Грумант уже на седьмом десятке лет на лодье «Иоанн Креститель», зимовал не менее семи раз, его изба стояла на Медвежьем острове.

В глубокой старости умер мезенец Иван Рогачев. Около своего зимовья он воздвиг двухсаженный крест в 1728 году и выскреб ножом на теле памятника: «Сей крест сооружен для прославления христиан во славу Бога кормщиком Иваном Рогачевым».

В 1765 году в Старостинской бухте зимовал кормщик Василий Бурков с двенадцатью товарищами. В летописях Груманта сохранились записки о безвестных поморах, погибших в 1770 году от цинги и голода у острова Чарль Фрреланд и гавани Кинес-бай.

Бывал на Груманте известный русский каменотес и ваятель Самсон Суханов. В зиму 1784/85 года он провел в бухте Маграмини на западном берегу Груманта. Там было большое русское зимовье, где жили длиннородые мужики в овчинных одеждах, вооруженные мушкетерами и прямыми саблями. Таким был облик груманлана XVIII века... Юный Самсон Суханов, которому тогда было семнадцать лет, имел богатырскую статью, не однажды вступал в единоборство с белым медведем, ходил на угрюмого хозяина Груманта с ножом, собирал гагачий пух, ползая по гранитным скалам Пуховых островов. В ту зимовку артель зверобоев промыслила много белух, сто пятьдесят белых медведей, триста моржей, сто пятьдесят тюленей, тысячу песцов, восемьдесят морских зайцев, пуды гагачьего пуха и вытопила много бочек звериного сала.

Подавшись в Петербург, богатырь из поморья Самсон Суханов стал знаменитым в столице каменотесом. Только ему доверяли архитекторы и скульпторы исполинские глыбы карельского мрамора, гранита и дикого камня, из которых тесал Суханов колонны храмов, дворцов и усадеб, мосты, постамент памятника Минину и Пожарскому в Москве колонны Исаакиевского собора в Петербурге, но еще в юности, будучи на Груманте, отъезжая с промысла домой, благодаря Господа за милость, что помог избежать скорбута и голодной смерти, Суханов сочинил песню:

Грумант угрюмый, прости!
На родину нас отпусти!
На тебе жить так страшно,
Боюсь смерти всечасно!

Скандинавские ученые считают, что архипелаг Шпицберген был открыт викингами в XII веке, об этом якобы говорят древние саги XIV века о плавании на Свальбард («Холодный край»). В одной из хроник упоминается: найден Свальбард – 1194 год. В саге о Самсоне Прекрасном XIV века читаем: «К Гренландии простирается страна под названием Свальбард, там живут различные племена». Но неизвестно, какую викинги открыли населенную землю и назвали Свальбардом, остается тайной, ибо, когда первые груманланы-мезенцы пришли на Грумант, это была ледяная пустыня, где хозяйничали белые медведи. Большинство ученых сошлись на мнении, что викинги открыли не Грумант, а бухту Скорби на восточном берегу Гренландии. Когда Баренц отправился в свое первое плавание, западные берега архипелага были уже обжиты русскими поморами, отдельные станы и зимовья сливались в большие поселения, куда съезжались на промыслы в иные годы сотни промышленников, и бухты были плотно уставлены кочами и лодьями со всех берегов Белого и Скифского морей. Во всякой слободе, посадке, в деревне и городишке с пригородками трудились свои доморощенные мастера – древоделы водяной посуды, на прибегищах ожидали пути уже готовые кочи и лодьи, шкуны, боты, бриги, гальоты, шняки, дощаники, карбасы морские и речные, лодки осиновки-долбленки, – на всякую поморскую нужду было свое подручное плавучее средство, без которого на северах нет пути, куда бы ты ни сунулся, хотя бы по ягоды-грибы или за сенами скотине. На Грумант чаще всего ходили лодьи, кочи и морские карбасы.

Коч (коча, кочмара) – деревянное двухмачтовое судно с грот- и фок-мачтами длиной шестнадцать-семнадцать метров, шириной до четырех метров, с осадкой в полтора-два метра. Артель промышленников в двенадцать – пятнадцать человек везла на палубе два-три карбаса, с них и вели промысел мужики на моржа. Коч по своей конструкции, ледовым качествам и надежности не имел себе равного в тогдашней мировой практике судостроения. Хотя судно шло под парусом только когда была повитерь, спутный ветер, в спину, но налегали на гребки до кровавых мозолей, если стоял штиль, море кротело, или ветер-противняк дул в «зубы». Но зато, когда море торосилось и с треском, ужасным гулом и стоном сжимало лед, и коч,

формой подобный яйцу, начинало выдавливать из морской пучины, артель скоро выбиралась на ледяное поле и вагами вынимала (рочила) судно из воды, не давала раздавить и потопить. Но новоманерный корабль в подобном случае обреченно шел ко дну, и вместе с ним в Ледовитом океане пропадала вся команда.

Были кочи большие, для плаваний в голомени, открытом море, на бурном взводне, и кочи малые, для хождения по мелким губам и корожистым устьям вихлястых речушек с неизбежными волоками через водянистые ворги, мшаники и болотные непролазы, когда шли промышленники в полуночную сторону. Поднимали малые кочи семьсот – восемьсот пудов груза но не было им равных в арктических сибирских реках, на звериных промыслах и в плаваниях по цареву указу за ясаком к инородцам... были они внешне неказистые, бокастые, брюхастые, никакой красоты в разводах бортов (нашв), никакой мифологической резной украсы на носу, ходили только по спутному ветру, зато строились быстро, в походных условиях, был бы топорик за опояской. Тут тоже требовались в работу мезенские гулящие парни, умельцы, поднаторевшие в плотницком ремесле; в три-четыре месяца строилось судно, шили кочи распаренным вересовым вичьем и деревянными нагелями (гвоздями), ровдужный парус, деревянный якорь с привязанным к кокоре валуном – самая неприхотливая плавучая посуда, незаменимая в морском предприятии, вызывающая поначалу лишь ухмылку у дураковатых европейцев, уже освоивших тропические моря. Но когда увидели, как спорится дело у русских варваров в освоении Сибири, то сразу повесили нос и склонили победную головушку: дескать, помогите пробраться на восток, покажите дорогу по Скифскому океану к Китайскому морю и уже с дьявольским умыслом присматривались к русскому пузатому кочу, чтобы перенять беззатейное северное создание. А ведь было чему дивиться: почитай, вся великая Россия от города Мезени до пролива Дежнёва, эти огромные ледяные пустыни были освоены груманланами и взяты под царскую руку на кочах, этих незавидных суденках, ибо все новоманерные иностранные бриги и корветы дошли с трудом лишь до вайгача и тут, капризные, застряли в торосах на два столетия, не было им дальше ходу на восток к Китайскому морю, как ни бились шведы, немцы и британцы... ибо в великих делах важна не столько форма, сколько содержание. А флот Ледовитого океана прирастал в тундрах крестьянской сметкою, почитай, тысячи лет, и никакие летописчики не подскажут вам, как изобреталось непритязательное внешне суденко мужицким умом, через муки поморские, трагические скитания и гибель русских сынов... Создание коча для Поморья – то же самое, что изобретение колеса для человечества.

Уже в XII–XV веках русские люди строили суда «согласно натуре моря Ледовитого» (Шергин). Я полагаю, что судостроение появилось в Поморье лет за пятьсот до Рождества Христова, когда русские скифы пришли к ледяному океану. Шитье морской посуды на севере (корабле) считали не только наукою, особнным мастерством, способностью избранных творить чудо, когда простолюдин, осенив себя крестом, садился на коч и уходил в голомень от берега, в неведомые дали, куда обычному человеку дорога была заказана, – вот такую способность избранных Богом называли «художеством». Это была высшая оценка лодейному мастеру.

Петр I был далек от простонародной русской жизни, и все его знания о море сводились к детским забавам на царском ботике. И когда приехал на запад, увидел украшенные резными фигурами бриги и корветы, зараженный с первых дней духом протестантизма, он сразу уверился что русский флот должен быть столь же прекрасным, не представляя, что для каждой «воды» годится только свое судно. Петр вернулся в Россию, наполненный презрения ко всему русскому, и занялся решительной (безумной) переделкой великой империи. Михайло Ломоносов, пожив в Германии два года, исполнился к своей родине и поморам подобным же чувством и стал хулить груманлан в неумении плавать ледовыми морями и строить корабли, но уже через пять лет отказался от прежних заблуждений и дал морепроходцам Студеного моря высочайшую оценку.

Петр I повелел строить суда только по голландскому образцу. Архангельский мореходец Федор Вешняков в своей работе «Книга морского ходу» возражал императору: «Идущие к архангельскому городу иноземные суда весною уклоняются от встреч со льдами и стоят по месяцу и по два в Еконской губе до совершенного освобождения ото льдов. Пристрастная нерассудительность поставляет нам сии суда в непрекословный образец, но грубой кольской лодье и нестудированной раньшине некогда глядеть на сей стоячий артикул. Хотя дорога груба и торосовата, но когда то за обычай, то и весьма сносно... чаятельно тот новоманерный тип судов определен в воинский поход и превосходителен в морских баталиях, но выстройка промышленного судна в рассуждении шкелета, или ребер, хребтины или кия образована натурой моря Ледовитого и сродством с берегом отмелым».

Царский указ оказался бессильным, и строили суда по прежней манере до конца девятнадцатого столетия.

Раскольник Маркел Ушаков и гонитель раскола холмогорский архиепископ Афанасий забывали распрю о вере, когда дело касалось любезного им мореходства. Во время диспута о вере в Москве в Грановитой палате в 1673 году Афанасий холмогорский «слупил с божественного старца Никиты портки и рясу, а Никита выдрал у архиерея полбороды. Но, узнав о смерти Маркела Ушакова, Афанасий попечалился». Сей муж российскому мореходству был рожденный сын, а не наемный работник.

* * *

Во главе артели, ромши, бурсы стоял кормщик, голова, старшой ватаги. Его выбирал хозяин-купец, на свои деньги сбивающий команду на промысел, и мужики, кто хаживал на зимовку, кто имел поморский опыт, не раз бывал на промысле, имел сильный характер и знатное слово. Все кормщики (в той же Окладниковой слободе) были на слуху, хорошо известны, каждый держался своего мира (деревни, посада) и пользовался особенным почетом и славою на всю округу, если был удачлив. Чтобы заполучить именитого мореходца во главу артели, шли богатые хозяева наперебой друг перед дружкой, улещали деньгами, золотую горою и похвalebным словом, только чтобы перетянуть на свою сторону... ведь кормщик держал ответ перед Богом и крестьянским миром не только за артель, которую собрал в поход (за их быт на зимовке, прокорм, снасти, промысел, здоровье, за лад меж покрученниками), но и обязался перед их семьями, женой, детьми, родителями. Что все будет ладно, все кончится успехом и миром, и не станет никакой розни, их мужья и дети вернутся домой во здравии) хотя родичи понимали в душе – не на свадьбу попадает их хозяин, не к теще на пироги, а на суровый затейливый промысел, от которого зависит не только жизнь походника, но и будущее всей семьи.

О кормщике в Поморье рассуждали так: «Должен быть разумом богат, глазом светел, слову верен, рукою тверд. Кормщику большую душу иметь надобно, да и руку крепкую. На промысле все по кормщику живут...»

Жил на Мезени знаменитый кормщик Федот Ипполитович Рахманин, родом из Юромской волости Мезенской округи. В морскую службу частных людей вступил в семнадцать лет, прожил на белом свете пятьдесят семь лет, из них шесть лет зимовал на Груманте, двадцать шесть раз зимовал на Матке между Вайгачским проливом и Маточкиным шаром. Про Федота Рахманина писал архангельский географ, академик Крестинин: «Он отличается от прочих земляков умением читать и писать, имеет неограниченную склонность к мореплаванию, любопытен, имеет охоту к отысканию неизвестных земель. Нет из нынешних кормщиков другого, кто бы мог знать лучше его Новую Землю».

«В Окладниковой слободе живет Алексей Иванов сын Откупщиков, мезенский мещанин, неграмотный старик семидесяти четырех лет по прозвищу Пыха, всеми почитаемый мореходец, замечательно знает север Матки» – мнение географа Крестинина.

Главный путь из Мезени на Грумант шел от Новой Земли, от мыса Черный. Правились в запад к острову Медвежий, вдоль многолетней осенней ледяной кромки Баренцева моря. Дорога считалась более надежной, чем путь от Кеми, на колу, через Святой Нос, самое опасное место, где сталкиваются встречные течения, особенно на приливе, крутит гибельный сувой, кипит волна, срывает белые гребни, сеет, взметывая водяную пыль, тащит корабль на дно, разбивает в щепы, особенно когда подолгу задувает «в зубы» супротивный разбойный ветер и спущен парус... потому Святой Нос, помолясь Николе Поморскому, минуют иль горою, по волокам, чтобы избежать беды, иль уходят отклонившись в голомень, в океан, мимо частых скалистых островов и корожек. Иные предпочитали отсидеться на берегу, пока дует «бережник». От острова Медвежий чаще всего шли на западную сторону Груманта, где и занимали иль пустую станую избу, иль собирали новую, которую везли с собою, рубленую в лапу и размеченную еще в слободе.

Но для какой нужды веками совались груманланы в дальнюю сторону от Мезени, в экую окаянную, лютую страсть, тянулись в Скифском океане, стяжая себе урожай? И неужели только ради хлеба насущного? Значит, Господь не отыскал других возможностей для мезенца-поморянина, чтобы пропитать окаянную утробушку, этого «врана и «нечистую свинью»? А может, даль зачурованная влекла – куда однажды уходили близкие люди встречу солнцу, покидая родные дома, и не возвращались. Хоть и светла, братцы мои, святая русская душа поморянина, но без хлеба и она не изживает своих лет, своего века, но скоро пропадает втуне в Ледовом море. Так душа человека невольно христосуеться с несатым брюшишком, и коротают они дарованный недолгий свой век оба-два. Северная скудная житняя пашенка на Мезени и Пинеге не дают своего прожитья, и океанское ледовитое поле невольно становится «хлебной» нивою, и с нее помор собирает тяжелый обильный урожай, чтобы пропитать чад и домочадцев, свою родовую; но праведными трудами невольно поднимает, успокаивает, лечит и душу свою...

Так зачем северяне «пехаються» на морские острова, за какими товарами, за которые можно получить «живую» копейку? Это сало морских зверей (моржа, белухи, тюленя, морского зайца и нерпы) везут в Москву и Петербург как «сало ворванное»; моржовые клыки (тинки) и зубы выламывают у убитых моржей и везут в Архангельск и Холмогоры для костяных работ. Кожи морских зверей выделывают в Архангельске, идут на обувь, а тюленьи шкуры выделывались в Соловецком монастыре, где и чернили их наподобие замши. Моржовые кожи везут из Архангельска в Москву, Петербург, где употребляют на ремни для карет и колясок, для гужей к хомутам, для тех изделий, где требуется особая прочность. Кожами белька и серки (детенышей тюленя) оббивают сундуки и шьют сапоги и кенег (зимняя обувь, изнутри подшита пушистым мехом, или байкой), идут в кяхту, к русско-китайской границе; выделанные шкуры белухи и морского зайца используют в Архангельске для подошв и вожжей на лошадиную упряжь, на хомуты; гагачий пух шел на подушки и одеяла для богатых домов; оленья шерсть для постельниц в крестьянские избы и в столовища; мех песцов, белых и голубых (полярных лисиц) – на девичьи душегреи и шапки, женские шубки. Оленьи шкуры – на совики и малицы, верхнюю одежду для северян, так необходимую в деревенских работах и в морском походе; выделанные шкуры белых медведей шли в дорогие подарки королям, великим князьям, ханам и шейхам, увозились в Среднюю Азию, на Ближний Восток, в Египет, Индию, но больше всего – в царскую казну, откуда и расходились вместе с соколами, полярными кречетами, по всей Европе...

Сборы на промысел – предприятие муторное, хлопотливое, особенно если ты живешь в забытом всеми углу России, в самой тьмутаракани, в бездорожице, на краю света, где каждый товарец, – фунт муки и крупы на кашу, – надо привезть бог знает откуда, путями затяжными, с перевалками через волока. Одно дело – заманить именитого кормщика, сломить гордыню, поклониться в пояс, а он уже подтянет к походу артель свободных покрутчиков, молодых, здоровых и сильных мужиков, могущих зимовать на Груманте. Конечно, покрут сбивает купец

с толстым кошельком, ибо кормщик не даст денег задатком бедняку, у него у самого нет свободного капитала, если большая семья и всем надо угодить. У бедного помора, который уж сколькой год не может выбиться из долгов, только деревенский богатыня, у которого удастся выманить копейку авансом и надеть ярмо на всю зиму; и он, ломая шапку в руках, идет снова просить в долг, проклиная и себя, и хозяина, к которому идет в работники. А торговец всегда готов помочь, протянет навстречу руку с зажатым в ладони рублем, который непременно надо вернуть, но с присыпкой, дозволенной торговым правилом, чтобы не ободрать просителя как липку, но дать ему воздуху, чтобы, отправляясь в покрут на коче богатыни, он знал, что семья не умрет с голода в следующую зиму и дождется жена мужа, не отпоет благоверного по дошедшим с Груманта вестям...

А у именитого кормщика все стоящие покрутчики на слуху; к каждому загодя зимой стоит съездить лошадами или перенять на пути на Канин на наважий промысел, еще до Евдокии, когда поморы сбиваются в покрут на Мурман по треску с мая по сентябрь, куда путь неблизкий, в пятьсот верст пеши, и их ребятишки зуйками рядом с отцами помогают тащить чунки с рыбацким скарбом. Дети сызмала привыкают к походным трудностям, вытряхающим душу наизнанку, когда тянешь санки с грузом, подхватываясь к отцу в помощь, проваливаясь по самые рассохи в рухнувший апрельский снег. До мурманского берега с Мезени и Пинеги, ой, жутко попадать, да и там, за работою руки в кровь, если паренек еще и мал летами, но он и наживщик у батки, и мастер шкерить рыбу, разжечь костер, сварить уху, прибрать в избенке, проверить яруса, снять рыбу с крюков, вернуться к стану. А до берега далеко, иной раз и версту и две грести надо... Вот такого парнишку лет четырнадцати тоже можно прихватить на Грумант в «зуйки», когда придет нужда куда-то скоренько сбегнуть, что-то срочно выправить, подмести, сварить, наколоть дров, затопить печуру на стану, наладить на стол брашно, освежевать зверя, ощипать перо у дичины, помочь больному, заменить больного иль отдавшего богу душу... да мало ли в зимовье всяких дел по мелочи, до которых у взрослого покрученника и руки не дойдут, он занят промыслом, добычею...

Все дороги идут через Большую слободу, через мирскую избу, где выправляют походники бумагу на отлучку из дома, а там уже подхватят надежные слухи, что где творится, такой-то богатыня сбивает покрут на Матку, на Грумант, на Канин за зверем, на Мурман по треску. Вроде бы мезенская слобода – место узкое, тихое, всех-то мещан и с тысячу едва наберется в самый людный год, и каждый поселянин вроде бы возле своей печи суетится, перебирая в памяти недолгие годы свои перед тем, как предстать пред Спасителем... Но это лишь на первый посторонний взгляд. А коли хватишься летом по нужде найти мужика в помощь, и с фонарем не сыщешь по всей волости – так внезапно обезмужичится родной край, только древние старики, из которых уже песок сыплется, самим требуется крепкая рука в помощь добрести до обеденного стола. Все поморы быются в поисках хлеба насущного, живой копейки для семьи.

«Эх, – с грустью вздохнет невестка, глядя на изгорбленного свекра, – был конь, да езжан, диво на диво...» – одни бабы да девки-хваленки остались во всей округе, заменяя на карбасах и в извозе домашних мужиков: некому и арестанта в уезд до тюрьмы отвести... Случись что, так и гроба на погост некому отнести. Хоть на Пезе, на Кулое, по Мезени реке и Няфте, по Мегре и Неси не сыскать толкового мужичонки, опустел уезд, ибо все крестьяне в отходе, на промыслах, в долгой отлучке в океане. Вздымись на небо и глянь с верхотуры на морские лукоморья и увидишь, как по губам, заливам, в устьях рек и становищах островов Груманта, Колгуева, Матки, Вайгача, Шараповых Кошек, в устье Оби, Печоры, Мезени, Двины, Онеги, Колы, Печенги, под Соловками стоят в заветерье многие сотни кочей, морских карбасов, лодий, шняк и лодок, у разволочных избушек колготятся люди, и всяк ведет вековые промышленные заботы, и нет, кажется, конца-края им.

И не только бывалого кормщика рвут с руками, но и деятельный, хваткий, молодой, сильный, рукастый парень идет в артель по большой цене, и его тоже старается залучить богатыня на свое судно подкормщиком, иль весельщиком, где требуется воловья сила, – и хозяин даст прибавки к паю из своего кармана. Вот почему сбиваются в покрут загодя, и мещанин-торговец смекает, как полнее, без урону подготовить артель из разных деревень. Купец вкладывает денежки – и большие сотни, ведь идут морем не в соседнюю речушку, где можно при случае и проследить, а на дальний Грумант-архипелаг из тысячи островов с дурною славою дикого мрачного места, прибрежные воды которого усажены костями погибших поморов, а скалистые берега западного Шпицбергена уставлены православными крестами со сказочных времен, бывает, и с той поры, когда еще при Спасителе апостол Андрей Первозванный поднялся по Днепру крестить Русь мимо Киева – крохотного острожка, на Полоцк – уже известный город, на Словенск и Валаам, где поставил большой каменный крест и подвел под Христа русских волхвов, а оттуда подался в запад, и уже в конце пути апостол Андрей Первозванный, брат апостола Петра, был казнен нечестивцами. Об этом не однажды вспоминал великий царь и первый император Иоанн Васильевич Грозный, что крестил Русь Андрей Первозванный в одно время с греками, когда Спаситель только что уходил царевать в небеса...

Сбор артели заканчивается загодя, а когда мужики уже согласились на промысел и отступать поздно, забраны в долг деньги, тогда кормщик идет к хозяину-купцу, который вкладывает большие капиталы в затеянное предприятие, или богатыня сам стучится в дверь к знаменитому корщику за помощью. Они обговаривают до мелочей будущее предприятие, чтобы не промахнуться, остаться в выгоде. На коче идти или лодье, да добрая ли посуда, может, требует большой починки, ладен ли такелаж, каковы паруса, ровдужные иль холстяные, а может, сильно обремкались, дыра на дыре. Можно бы об этом, кажись, и не спрашивать, ибо живут в соседях, и все тайное давно стало явным. Но обсудить надо, чтобы все было по старинке, как водится по уставу. Поговорят, примут по стопочке под муксуна, иль под малосольную нельму, иль прикажут хозяйке кислой камбалки подать помакать для душевного спокойя и телесного здоровья. Суровы нравы в поморском согласии и нет в нем мелочей, и еще не раз встретится хозяин уже в избе кормщика, и литки (рукобитье) отметят, – «не вем, приведет ли судьба еще встретиться». Один при беде теряет капиталы, другой – жизнь свою и всей артели... об этом вслух не вспоминают, но каждый держит в уме, и оттого сговор с кормщиком содержит тайные нравственные смыслы и родственные чувства, о которых суеверно, озорко проговаривать вслух: как бы не накликать беды...

Сойдутся на том, что по вешней поре, как растеплится на дворе и пройдет ледоход, осмолят посудинку, да и осмолят всю насквозь, не проела ли мышь, да, поди, гнильца завелась бесперечь, да нет ли течи, рвани в канатных бухтах, как бы не потерять якоря... исправна ли печь в казенке, да каковы три морских карбаса, с которых придется бить в море моржа и ставить сети на белуху, не погнили ли – ведь у каждой вещи свой срок; да справен ли бой у пищалей и мушкетов, в запасе ли сухой порох и пули, защиты ли сетки по рыбу и нет ли дырья в неводе на белуху: зверь крепкий, отчаянный, один уйдет на волю, а следом и вся ватага: потом ищи-свищи. Все, каждую мелочь надо высмотреть, что починки просит. Ибо в море – не у тещи в гостях: как налетит разбойный ветер-полуночник, поздно будет хвататься за соломинку, звать татку с маткой, вопить в небеса, коли приключится оказия: «Осподи, буди мне, грешному, не оставь окаянного...» Конечно, жметя тароватый купчина-старичина, выторговывая себе прибутку, ведь в этом мире даром ничего не бывает, и самому совестному боголюбивому хозяину надо ломать голову, не спать по ночам, отовсюду приманивая в свою зепь по грошику, коли и сам-то начинал жизнь с покрута. Но все-таки божьего суда боится мезенский купчина, стремится к добродетелям, чтобы помянули при случае добрым словом: вот и храм поднимет середка города, и вклад положит, церковные классы откроет, взяв на свой кошт школу, и хлебную лавку заполнит товаром, чтобы не оголодал православный народишко, и не вымер в

скудные злые годы, как то случилось в XVII веке, и ополовинилась тогда мезенская деревня: многие избы вымерли вчистую, и некому стало предать земле, оплакать, справить поминки и отпеть со старухами-вопухами в молитвенном доме поморского согласия и на могилке. Молодые парни, казакуя меж деревенских окон и не сыскав работы, побежали в Тобольск и, поверставшись на государеву службу, съехали на устье Оби, на Енисей и Лену. Иные подались с семьями и малыми детьми туда, где текут молочные реки, а соболей девки бьют коромыслами, когда идут на родник по воду. Их ловят на таможах, в сибирских острогах, велят под страхом сурового наказания поворачивать оглобли назад, но беглецы упрямо идут на восток, обживать новые земли. А куда возвращаться христовеньким, ибо жилье без призору погнило, рухнуло, земли заросли чищерою, и ни копейки за душою. Воят мезенцы, шлют в Москву слезницы: «Царь-государь, дайте нам время обжиться на новом месте, не судите строго, не ворачивайте назад к пустому месту».

Обнищились многие торговцы, и еще круче и тоскливее стало жить поморщине, ибо неоткуда ждать живую копейку, чтобы заплатить подати, а царская власть обложила народ налогом вдвое и втрое. Это было немилостивою местью Москвы поморцам за долгие годы раскола, за восстание на Соловках, за неиссекновенное чувство воли, совести и сострадания, — те самые божьи ручейки, которые стремительно иссыхали в столичных городах. вон откуда, от Алексея Михайловича и от его хворого сына, царя Петра-антихриста I, пошло гонение не просто на староверческий толк, а на весь боголюбивый поморский край, откуда власть черпала ковшом в свои кладовые золотую и серебряную гобину. Мезень и Пинега строили государство, крепили его из последних сил, рвали жилы, а им в благодарность шелопы, кнуты и костры...

Купчины, чтобы вовсе не разориться, не пойти по миру, тоже спохватились и потянулись следом за молодыми казаками на восток, и мезенские вдовьи семьи остались вовсе без призору, но перемоглась, пережила северная деревня голодный XVII век, выправилась, поднакопила жирку.

Вот и купцы — царевы целовальники, распрощавшись со службою, воротились назад в родную Мезень с нажитком, чтобы верстать отряды морских охотников...

Суровы нравы в поморском согласии, чтут староверы Христа Иисуса и сына его протопопа Аввакума. Есть в этой русской натуре племени «груманланов» какая-то особая неизъяснимая сила, что мужики ни огня, ни каленой стрелы, ни черта, ни цинготной старухи не боятся, забираясь в поместье Сатаны. И только Господа и Николу Поморского опасаются прогневить.

5

И вот хозяин делает запасы на промысел, заказывает на сторону, проглядывает в своих амбарах и житнице, на леднике и в погребницах. Какого-то харчу, конечно, артель на Груманте добавит: забьет диких оленей на свежее мясо, насобирает птичьих яиц из гнезд на скалистых кручах. Но это приварок, добавка к запасам; главное – что возьмешь на промысел с собою, чтобы спастись от скорбута, а заведенный порядок такой в поморской артели: идешь в море на неделю – бери харча на месяц; уходишь на полгода – запасай еды на год, и т. д.

Из харчей: берут с собою на Грумант большой запас муки для хлебов ржаной и ячневой, разные крупы для каш, много сухарей, ибо без хлеба русский стол не стоит, ибо хлеб всему голова; если нет у мужиков папушника или житнего колоба, ржаного каравая, лепешки прямо с огня, блинов или кулебяки с трескою и палтосиной, то ощущение у поморянина, что вроде и есть-то нечего, голод прижал, хотя от мяса и рыбы ломится стол: если кончается в становье хлеб и сухари, и последнюю муку подмели в ларе – то вялят и сушат оленьё мясо ломтями и с ним едят рыбу и ушное, как с хлебом.

Не забывают на зимовку мед сырой, масло постное и коровье соленое в пестерях (берестяной посуде-ведрах и палагушках), соленой трески и палтосины: для северянина треска и палтосина – лучшая еда, хоть сырая, хоть вареная и жареная; кто устоит противу нее? Эта рыба не приедается, от нее черева не тоскнут, будь она хоть и с сильным запашком, печорского посола; незнакомого человека от невыносимого кислого духа выметает вон из избы, и после он долго не может приобыкнуть к этой естве, но когда притерпится, то уже от стола не оторвать: перед трескою печорского посола даже семга в падчерицах; берут на промысел мясо скотское соленое, баранину, молоко топленое в кадках (каднее), несколько бочек ставки (кислого молока с творогом), несколько ушатов морошки моченой с учетом, чтобы хватило до следующей осени, шишки сосновые, чеснок, лук, ушат квашеных грибов, туеса брусники и клюквы для питья, рогозницы с солью.

А еще постели, малицы, мавличные рубахи, совики, рубахи и порты на пересменку, белье исподнее, чтобы сменить после бани и грязью не зарастить от зверской такой работы. Человека, равнодушного к себе и своему здоровью, скоро прихватят девка-знобей и мрачная хозяйка Груманта – цинготная старуха, смахивающая на Бабу-ягу, переселившуюся на архипелаг из русских сказок. И никак не отбиться от сатанинских служанок. А еще понадобится добрая обувь, пропитанная ворванью, да чтобы без протечки, бахилы до рассох, коты, уледи, ичиги, валенки пришивные голяшки, штаны ватные, холсты, онучи, поддевки из оленя, рубахи вязанные из веретенки, басовики (катанки без голяшек) в чем в зимовье ходить. Шапка овчинная, башлык, малахай, рукавицы-вачеги, верхонки, рукавицы вязанные, носки шерстяные долгие из хозяйкиных рук и короткие носки на пересменку две пары; а еще пицаль, огневой припас (порох и пули, кутило, спица на моржа, лук-саадак со стрелами, бочки для вытопки сала, капканы, ловушки на песца, туеса и пестери, точильце, ножи, трутоношу, компас-матку, чтобы не заблудиться на Груманте в снежной пустыне. Пожалуй, и десятую часть не перечислил из того, что понадобится лишь одному покрученнику. А их на коче будет пятнадцать мезенцев, и как бы чего не упустить, не утратить в первые часы отъезда, спохватиться, пока возле дома, и взять. Иначе после ищи-свищи, кусай локти...

Кто-то верстается в артель из своих запасов, кого-то собирает хозяин-богатень и после вычитает деньги из заработка покрутчика, нанятого на промысел. Если удачно сплавали, набили зверя, то какая-то доля из одной трети пая достается нанятому работнику за вычетом долгов, которые успела набрать семья добытчика в его отсутствие дома. Но даже при удачном промысле заработок охотника столь незавиден, что, возвратившись в деревню, мужик снова вынужден наниматься, невольно попадая во власть удачливому оборотистому земляку. Увы,

такова судьба нашего семейного мореходца, не шибко смекалистого, любящего завивать горе веревочкой, искать счастье в кабаке, смиряясь с уготованной судьбою. Можно, конечно, или кинув семью, бежать в просторы России, на прельстительный восток, и поверстаться в казаки, в царевы слуги на жалование, или заняться в Сибири соболем, куда уже скинулись казаковать многие молодые слободские мужики, или бурлачить по сибирским рекам. Один хомут сбросили с шеи и тут же натянули другой, еще более гибельный. Бывает, что кому-то выпадает повезенка, сшибают фарт в неведомых землях, но чаще всего пропадают безвестно, в таежных распадках не вем где. Вот повезло же братьям Коткиным, думает иной, натягивая на шею новый хомут, а я чем хуже? Может, обличьем-то и краше, девки-хваленки с ума сходят, но есть, есть еще кровь предков, таланты и судьба, которую на кривой кобыле не объедешь. Да, Коткины, как и Семейко Дежнёв, холостой парень с Пинеги, поверстались в казаки, выслужились в целовальники, тяжкими трудами скопили гобины, набили кошулю серебром, а сейчас судачат на Мезени, ездят по столице в карете и пьют не какую-то водчонку, а только херес, виски и ром... да нет, врут, поди, мешана от зависти, лба не перекрестя на храм. Ведь кто нажил капиталы своим горбом, скитаясь по Сибири, тот не станет напрасно сорить деньгами, иначе заведется в доме моль и скоро житье захиреет, а дети пойдут по миру.

«Не стоит пока загадывать», – рассуждает деревенский «рохля», припомянувшись, стаскивая походную поклажу на берег Инькова ручья, что делит Окладникову слободу на полы; там уже дожидался купеческий коч, готовый к отправке: пусть и не с новья посудинка, но сидит в кроткой полуводе красиво, задравши нос, и тес у казенки выглядит новым, отглажен рубанком вчистую, слюдяная «шибка» у окна промыта, отражает ослепительное межонное солнце, нашвы пробиты конопаткою, а пазья и вересовое вицье залиты кипящей смолою. На палубе по борту и на растрах принатойвлены пять морских карбасов, ловко вложены друг в друга, там же гребни, шесты пехальные, плицы для вычерпывания воды, по другому борту и на палубе мачты, холщовые паруса, якорь с лебедкой, ваги, чтобы важить, вздывать из воды на торос коч, – пятнадцати дюжим поморам эта работа станет под силу, бухты разных конопляных веревок, всякий такелаж, и, конечно, не забыты дрова, много дров, ведь на Груманте нет ни леса, ни другого хлама, кроме разбитых кораблей, – печальные свидетельства драм и трагедий, еще случайно не истопленные в печурах становий, коих множество по западному берегу Груманта... плавник обходит его стороною, течениями прижимаясь к матерой земле.

...Плавник выносит из устьев Онеги, Двины, Кулоя, Мезени и Печоры, и он минует Грумант, не оседает на скалистых угрюмых стенах Больших Бурунов, но почти весь остается на берегах Белого моря и Матки... Там вырастают горы бревен, свежего и старинного леса, порубок из лесосек и разбитых штормами сплавных плотов, всякой гнили, хлама и деловых свежих, не ободранных волною бревен, годных даже на избу и баньку... через эти завалы порою трудно пробраться. Бревна, до лоска отглаженные штормами, ветрами и дождями, похожи на останки древних мамонтов, которые порою находят в северной земле. А вот Грумант беден топливом, и дрова приходится брать с собою, сети и невода, промысловый снаряд: ушаты с топленым молоком и ставкой, туеса с ягодой, грибами, с морошкой груделой, еще недошлой, в пути до Груманта созреет, мешки с крупами и мукою и прочим продуктом спущены с палубы вниз на поддоны, чтобы не замekli, туда же медные котлы и деревянные кадки с маслом коровьим, бутылки с маслом постным, оружие и огневой припас убраны так, чтобы были всегда под рукою и в случае разбойного ветра можно скоро выметать на лед, пока стамухи не всползли на палубу и не утащили суденко на дно вместе с командою: и, чтобы не утратить харча, многое убрано в казенку под присмотр кормщика, а бочки для моржового и белушьего сала спущены в трюм, там же и груз речных и морских голышей для осадки судна; на становище его выгрузят на берег.

Возле сходней крутился нанятый хозяином «зук» – рослый мальчишка, мечтающий попасть в рейс; он уже дважды с отцом ходил на Мурман по треску, был в артели наживщиком, мечтал подрядиться на Грумант с дедом и сам думал по себя, что все знает, всему учен. Попа-

дали до Мурмана пеши пятьсот верст, супротивный ветер побережник бил в зубы, хиус сек лицо, продувал насквозь, тащил с грузом чунку (кережку), дважды попадали в февральскую метель, три дня отсиживались под снегом, опрокинув кережку и нагребши поверх чунок снега. «Не заколел, сынок, только не спи», – остерегал отец, пригребая прыщеватого, но жилистого мальчонку себе под грудь. «Сопрел, однако», – хвалился «зук», сдувал с носа пот, ползущий к верхней губе, слизывал вместе со снежной накипью, хватал ратовище шеста и давай дробить, пробивать в снежном наплыве продух...

«Будет день, будет и пища... телят по осени считают... а там уж как Бог подаст, стоит ли идти с поклоном к богатине, чтобы тот снова принял в покрут и за счет будущего заработка помог семье рублем, или взял бы бабу в казачихи на сеностав, или обряжаться по хозяйству...» – размышлял покрутчик, взглядывая на зуйка, а видел перед собою своего старшего сына, который оставался в Большой Жерди в помощь матери.

...И кормщику тоже надо крутиться, полагаясь на свои таланты, знание пути-дороги, морей, берегов и островов Ледовитого океана, становища на тех землях и залежки моржей и тюленей, ежегодно приплывающих к тем берегам, в какие сроки и как долго плодятся звериные юрова, где гнездится птица прилетная и жировая, и как ловчее брать ее без ружья и солить в бочках на торговлю и в запас, знать каждую коргу и тайные отмели, сувой и сулои, подводные течения и коварные места, как выжить в диком месте, если настигнет беда и вернуться в родные дома к семье, да чтобы повадили спутние ветра, а не бил бы в зубы супротивный «побережник и шалоник...» А в каждом берегу Белого моря свои родные ветры, на которые можно опереться, и враждебные, погубительные, что уташат в голомень, не спросясь, то ли летник, или полуночник, или восток, и вся тогда надея на Иисуса Христа и его святителя Николу Поморского. «И хорошо бы по возвращении в слободу получить от хозяина, – думает кормщик, – свершонок в пятьдесят рублей серебром поверх своего пая да постоять перед ним за честь покрутчиков, чтобы хозяин не избил бедных мезенцев и всегда помнил Бога...»

И купцу, вложившему свой капитал в промысел, тоже надо бы почаще вспоминать, с какими трудами и сам выбивался из бедности, из лиха да в нужду, и знать по совести и смирению, что «бог дает богатым денег нищих ради», чтобы разбогатев, пусть и неусыпными трудами, владелец судов и капиталов с милосердием вглядывался в заветренное, рано изморщенное лицо трудовика своего и был бы всегда готов протянуть спасительную милостыню... молился истово, ложась на ночевую? Как-то там, на Груманте, его артель? Живы-нет, и все ли у них ладом? Из Дорогой Горы и Лампожни, из Большой Жерди и Азаполя, из Целегоры и Карьеполья, из Койды и Семжы, из Большой Слободы и Малой набрал кормщик покрутчиков, и лица молодых, в самой разовой поре, мужиков прояснивали перед глазами из ранней осенней тьмы. Да и как не молиться, если два года тому срядил коч и двадцать покрутчиков, а о них ни слуху ни духу, хоть бы с проходящих судов кто весть привез...

Нет, мезенский купец-старовец никак не походил на алчного жестокого мироеда, созданного воображением русских «пахоруких» литераторов, ничего не поднимавших в жизни тяже тростки (гусиного пера) с чернилами и дести бумаги.

Вот о них-то, пропавших в океане, и о тех, кто собирается на путину, и молит хозяин, сулит им удачи, ворочаясь в горнице на жесткой оленей постели, чтобы им, мезенским охотникам-зверобоям, выпала удача в море, чтобы не угодили в разбойный ветер, не потеряли хозяйское судно, следили за ним, как за своим, ибо в коче их судьба и спасение, чтобы обильным наискалось моржовое лежбище да чтобы хватило харча до конца промысла, чтобы не задушила артель злобная Старуха-Цинга, тогда век не избыть перед осиротевшими семьями своей вины....

Бабы с дитешонками съездили на карбасе по Пые-реке на дальние болотистые ворги, куда мало кто бродит, и набрали туесье и ушаты зрелой морошки, истекающей соком; натомили в русской печи молока на пятнадцать мужиков, наквасили несколько бочек молока с творогом,

настояли спасительную от цинги «ставку», напекли хлебчины, насушили сухарей, ведь жизнь их благоверных, а значит и судьба семьи, зависит от того, с каким усердием, безунывно потрутся их жены.

...Вот и все вроде бы готово к походу, а что позабыто, то вспомнится опосля, когда станет прижимать взводенек и окатывать крохотное суденко студеной океанской волною, соленую водяную пыль, сорванную ветром с белого гребня, высевать в каждую расщелинку и пазушку судна...

И старый мезенский сказитель Проня из Нижи тоже в застолье: и хозяин промысла, верный дедовским обычаям, еще не забывший зимовки на Груманте и Матке, самолично ездил на оленях на Канин в деревню Нижу, что в двадцати верстах от устья Кулоя, где жил известный в поморье баюнок, былинщик, исполнитель старинных распевов, сказыватель всяких чудесных древних приключений Проня Шуваев из Нижи с молодой женою Фёклой Юрьевой из деревни Ручьи: у Прокопия Шуваева, когда сказитель еще жил в Большой слободе и не думал съезжать на Кулой, мезенцы учились выпевать старины: сказитель помогал на промыслах убивать долгую темную зимнюю ночь длиною в четыре месяца, когда солнце, запавшее в запад в октябре, никак не желает до Сретения вылезать на белый свет.

Изба Прокопия Шуваева в Ниже всегда полна проезжего и прохожего народу, дорога проходила под окнами его избы; ведь мезенцы весной, осенью и зимою все время проводили в путях. Кулояне и слобожане, «мезяне и пезяне» отправлялись с зимнего берега на тюлений вешний промысел бить зверя, попадали на остров Моржовец и западную сторону Канина. В иную пору сбивалось на вёшний путь до тысячи зверобоев, и в долгие зимние вечера, чтобы прокоротать время, поморы из ближних зимовий частенько сходились в избе Прокопия Шуваева и слушали его старины и былины. Чаше Проня пел былины вдвоем с братом Николаем, но мезенскую песню «со вчерашнего похмелья», или «когда цвет розы расцветает», или про «Ваську-пьяницу» затягивали человек десять. Молодые поморы подтягивали пожилым певщикам, запоминали слова, музыку и позднее на Новой Земле и Груманте исполняли запомнившиеся сказания, легенды, были и сказки...

Собиратель фольклора А. Григорьев писал: «Благодаря пению старин во время путей, когда собирается много мужчин, у знатоков сказаний оказывается много учеников».

Распевы Прони Шуваева далеко разошлись от Канина Носа по всем беломорским берегам, на Онегу и Пинегу, тут невольно как бы сама собою создалась необыкновенная, единственная на Руси школа исполнителей русской старины, и многие ученики ее вошли навсегда в народную культуру, стали незабытны. И «записыватели с трубою» полтора века наезжали из Питера на Канин в деревню Нижу, чтобы снова убедиться, что редкостный богатый источник не заилился, не обмелел совсем, хотя к этому идет и видится уже дно...

Из школы Прокопия Шуваева, кроме его родичей, вышли Мардарий из Кузьмина Городка, Касьянов из Заонежья, Аграфена и Марфа Крюковы из Зимней Золотицы, П. Кузьмин с Печоры, пудожане: А. Пашкова и Н. Кигачев, М.Д. Кривополенова из Пинеги, П. Нечаев из Сояны...

И залучил его наш купец-молодец, насулив хорошего жалованья, завлек на промысел на Грумант, и вот, распустив на груди широкую, лопатой, сквозную бороду, сияя желтой плешкой, кулойский баюнок уже завладел отвальным столом, даже не отпив и глотка хереса из круговой братины, а рядом, прислонившись к боку мужа, с какой-то древнерусской душевной теплотой во взоре сидела молодая жена Фёкла, во все отвальное не проронив ни слова, но в голубенькие просторные глаза то и дело набегала влага и, не скатившись из слезницы к верхней пухлой губе, сразу просыхала в обочьях. Проня уходил в море и не вем, вернется ли домой, а Фёкле так хотелось быть вечно возле него и там, на Бурунах, чтобы при случае отогнать зловещую Старуху-Цингу. Фёкла любила петь с Проней вдвоем в долгие зимние вечера, и знала твердо, что лучше этого душевного счастья уже не случится на ее веку.

«Ну что притихла, радость моя? Может, хочешь спеть на прощание: «Старый муж, грозный муж, жги меня, режь меня»? ...Проня поддел двумя ладонями снизу-вверх пушистую седую бороду, обнажил шершавое горло, и как-то игриво, по-молодецки, плеснул шелковистую шерсть в лицо жене.

«Проня, да ты почто этакое говоришь-то?» – распевно протянула Фёкла, отстранилась, приглядываясь к мужу, взболев говорит или шутит, и легко пролилась слезами.

«Да будет тебе... эка ты, однако, курица мокрая! – засмеялся Проня. – Ну-ко, голуба моя, душенька зоревая, незакатная, лучше спой нам провожаныице, а женки подхватят...»

Фёкла промокнула утиральником губы, приотряхнулась, поправила на тощеватой груди темно-синий сарафан-костыч и потянула хрипловатым голосом зачин за невидимый тонкий хвостик, готовый вот-вот оборваться. Завсхлипывала, запристанывала, резко обрывая горловый звук...

...Станем ждать да дожидатися
Мы во чистыя поля во широкия,
Прираскинем свои-то очи ясныя
Далеким-далеко на все стороны...
Мы станем глядеть да углядывать,
Что не придут да наши ясные соколы.
Они – яблони, да кудреватые,
По прежней поре да по времечку
На трудную работку на крестьянскую,
Будем век дожидаться и повеку...

Мальчишки-зуйки побежали звать на отвалный обед промышленников с женами и близких хозяину слобожан к назначенному часу, кланялись, приговаривая: «Звали пообедать – пожалуй-ко», – и мчались дальше по мезенским избам.

Слобожане не чванились, после третьей просьбы шли в назначенную избу с охотою, ибо отвалный обед, сытный и жирный, устраивал хозяин. Первым блюдом шла треска, плавающая в масле, политая яйцами, были суп из оленины, блины с жареной семгою, навага в молоке, – и вся еда под обилие водки, рома, хереса, привезенных от норвегов по летнему пути, когда мезенцы и слобожане возвращались с мурмана, с трескового промысла, и теперь в каждой избе жарилась свежина-треска и палтосина, на ледник были спущены корчаги рыбьего жира, добытого из рыбьей печени.

Тем временем вчерашние застольщики, одурев от обильной гоститвы, приходят в себя, слегка опохмелившись, кому нынче выступать в море, остальные мужики догуливают у разоренного стола и, приняв чарку рому, с песнями бродят по Мезени, приглядываясь к девкам-хваленкам, собирающим на мезенском угоре большой выход. Девыцы перетряхают бабы сундуки, роются по подволокам и вонным амбарам, по светлицам и горницам, примеряют материно и бабкино приданое, горько пахнущее затхлым, грустью и минувшими годами, когда нынешние старбени с запеченными в луковицу щеками прежде были грудасты и глазасты, русские красавицы с косою в отцов кулак, за которую и волочил порою батька, призывая к уму и чести... Женщины, прибравши со стола остатки обеда и обрядивши скотину, неторопко идут к Инькову ручью, где уже зажила приливная вода и потянулась из большого шара, качнув посудину, готовую к отплытию в океан...

В мое время река уже далеко отшатнулась от города Мезени, бывшее русло превратилось в поскотину, опушилось кормной травой и зарослями ивняка, но в начале XVIII века большой шар на приливах разливался раздольно, по нему ходили кочи и лодьи и в кофейного цвета бурной приливной воде в верхнем ее слое, мутном от «няши», спешили в верховья реки за

шестьсот верст огромные стада семог, уже нагулявших в белом море розовое нежное мясо и пахучий жир в подчеревках. Это я еще помню в деталях, как мы, мальчишки, бабы и мужики забредали в большой шар на прибывающей мутной воде, пока не стапливало нас по горло, и кололи непуганых могучих рыб ножами, вилами, острогами, спицами, всяким домашним колющим и режущим орудьем, какой приводился на то время под руку.

Рыбы плыли по верхней воде, глинистая муть забивала жабры, глаза, глотку, но семга уже не могла вернуться в морскую стихию, впереди ждали сотни верст пути, родные заводи, перекаты и каменные переборы, сети, невода, рюжи, заборы и каленые крестьянские крюки, но в подбрюшье уже неукротимо подпирала вызревшая икра, истекала из паюсного мешка: поджимали сроки, надо было, не мешкая, освободиться от нее и дожидаться семог с уже готовой молокой. Гнездовье нестерпимо звало к себе, не хватало уже сил терпеть, и семга, преодолевая страдания, не обращая внимания на крики людей, на тревожное мычание коров, переплывающих реку, на сутолоку в большой слободе упрямо тянулась в верховья на свои незабывные заводи у селища Козьмогородского, на корожистый берег, откуда бежал по мелкой гальке ледяной прозрачный родничок и торчали за поворотом гранитные валуны, обвитые со всех сторон шелковистой травой и упругими струями; там поджидал серебристое стадо глубокий омут, где можно передохнуть иль выкопать копь, если уже невтерпеж, и посеять икру, злобно глядя на стадо прожорливых харюзов и сигов...

Семга пехалась вверх до прозрачных речных вод возле дорогой горы, куда уже не доходил прилив: там можно было постоять на песчаном дне. Рыба плыла с упорством обреченного, кому некуда отвернуть и спрятать голову, шла верхним пером наружу, и серая хребтина была далеко видна всякому человеку, пришедшему на большой шар за добычей. Это была веселая увлекательная рыбалка, доступная всем слобожанам, и каждый, кто нынче хотел сообразить кулебяку со светлой рыбой, спешил к большому шару, забредал в глинистый мутный поток, в густую приливную воду и с размаху всаживал спицу, нож, или сенные вилы в семужью спину и, насадив на острие, торжествуя выбирался на угор и спешил в избу...

Я помню эти редкие минуты, когда мощное, красивое, серебристое создание упруго билось в ладонях, еще слабых моих ручонках, вызывая нетерпеливый охотничий трепет, когда детство вдруг отлетало прочь, и откуда-то изнутри прорастал мужик. А рыбина, на мое несчастье, вдруг выскальзывала из плена на свободу, и, забыв о грядущей опасности, снова упрямо шла вверх по Мезени, повинувшись зову жизни, спешила оплодиться, отикриться, вырыть хрящеватым рылом в песчаном дне тихой заводи за камнем-одиночком плодильню, устроиться возле на зимовку, поджидая молодь, охраняя икру от хищных харюзов, сигов и окунья...

И вот прилив покати́л спористей, стеною, скоро завернул с большого шара в Иньков ручей, затопил травяные берега, подкрался с шипением и белой пеною до самых подклетей слободских изб, подтопил баньки, дворы и амбары. Морской коч качнуло на воде, выпрямило, мужики полезли на судно, крестясь на купол Богоявления, священник пытался петь канон густым голосом, размашисто скидывал кадило, раздувая в нем, как в утюге, душистые вкусные багровые уголья, но хозяин-старовер, родом из Семжи, не боясь государева гнева, велел мужикам гнать еретика прочь, пока царев попишко не навлек беды на отходящую артель. Взыли женки, запели во пленницы, позванные на угор для провожання, бывалые староверки-келейщицы запричитали высоким с подголосками напором, обливаясь слезами, будто провожали родных на погост. Мореходцы уходили так далеко, покидая родной дом так надолго, будто венчались со смертью, которую иным и случится принять на чужой стороне:

Уж и где же, братцы, будем день днeвать,
ночь коротати?
Будем день днeвать в чистом поле,
Ночь коротати во сыром бору,

Во темном лесу все под сосною,
Под кудрявою, под жаравою,
Нам постелюшка – мать сыра земля,
Одеялышко – ветры буйные,
Покрывалышко – снега белые,
Обмываньице – чистый дождичек.
Утираньице – шелкова трава.
Родной батюшка наш – светел месяц,
Красно солнышко – родна матушка,
Заря белая – молода жена,
Изголовьице – зло кореньцо...

Прилив остановился, вода на мгновение окротела, замерла сама мать сыра земля, казалось, затихла вся вселенная, ожидая Христа и его отцовских наставлений, мир, прислушиваясь к урокам Господа, куда, в какую сторону двигаться старой Скифии от вечных льдов Гипербореи, чтобы отыскать свою дальнейшую судьбу, или хотя бы смиренно приобрести, никого не обижая, хлеб насущный по отцовым заповедям, «со своих ногтей»: и особенно не слушая староверческих начетчиков, все-таки не сбиться окончательно с родового пути. Такая минута и наступает поморянина, когда он разлучается с родимым прибежищем, отдаваясь на волю волн...

Вот этих дружественных и мужественных людей, извеку почитающих ледовитое море, как родной дом, и называли в XII–XIX веках груманланами как особую отрасль великого русского народа. В те годы не замирала Русь под спудом нищеты и смирения под окликом Бога, но ширилась во все стороны, принимая всей душою наставления царя Иоанна Васильевича Грозного, что хотя Христос и сын русского племени, но он и Отец, и Господь наш, и надо слушать и слышать каждое его слово, как последнюю истину...

Уже в XVI веке от берегов Белого моря пускались на промысел до семи с половиной тысяч русских судов, уходили в океан от родимых берегов свыше тридцати тысяч промышленников. Отсюда и присловье пошло: «Море – наше поле... кто в море не бывал, тот и Богу не маливался». Гиперборея – не слух, не сказочный миф, не место на карте – это вековечное гнездо русского народа и трудная пашенка его – весь Ледовитый океан под Полярной звездой...

В. Капнист написал в XVIII веке работу, где доказывал, что гипербореане живут за Уралом, и там родина Аполлона. По Страбону же гипербореане – одна из трех групп скифов (еще аримаспы и сарматы). Промышленники, ходившие в XII–XIX веках на Грумант, называли себя груманланами.

Впервые название Шпицберген появляется на карте мира в 1612 году. Норвеги и шведы живут напротив Шпицбергена, но туда не ездят через море из-за бурных ветров и льда. «Над страной высятся горы, – писал Гербертштейн, – покрытые вечным льдом и снегом. Некоторые лица отважились отправиться туда, и хотя они наполовину погибли от кораблекрушения, а оставшиеся дерзнули поехать в эту страну, но, кроме одного, погибли все во льду и снегу».

* * *

Завыли мезенские во пленницы, хрипло, с усталостью житейской в голосе запели старбени, окликаая минувшую жизнь, запричитывали бабки-вековухи, вскричали жалобно молодые слободские женки, утирая безудержную слезу – каждое слово выкликалось ясно, пронзительно. Да и как было не плакать мезенским вдовам, если еще толком не отпели сорок мужиков, в прошлом годе не вернувшихся с моря, еще не вернулись с Матки в Мезень их лодьи и кочи. А мужики-то пропали не простые, а бывалые, вековечные ходоки, кормщики и морские устав-

щики, известные мореходцы, почитаемые на весь север... Вот так круто распорядился Господь со своими детьми, возлюбившими бога и Скифское море... Один из артели покрутчиков попросил хозяина по заведенному обычаю: «Хозяин, благослови путь!» – «Святые отцы благословляют», – ответил хозяин. «Праведные Бога молят», – добавил кормщик. Затем вся артель запела «Отче наш» в сторону Соловецкого монастыря...

С Большого Шара робко потянуло теплым обедником. «Пора трогаться», – приказал кормщик и взялся за правило, звякнул у казенки колокол кимженского литья, мужики кинулись разбирать холстинные паруса, вытянули лебедкой якорь, иные взялись за гребки, одели на кочеты весла, четверо покрутчиков уперлись пехальными шестами в няшу, слободские мужики-проводальщики, кто вчера пировал отвальное, забрели в бахилах в Иньков ручей и помогли спихнуть тяжело груженное судно на глубь...

6

Мы приняли Нестора-летописца за создателя русской истории и при всяком удобном случае непременно сверяемся с трудами черноризца и как бы уже не видим других мнений, взглядов, открытий, или считаем уловками чужебесов, покушающихся на великого монаха. И не принимаем возражений, что от летописца минула тысяча лет и сколько всего необычного пришло к нам из прошлого, вроде бы безвозвратно утерянного, какая драгоценная историческая скрыня приоткрылась, и нас вдруг опажули сказочные страницы древней Руси, когда о Христе еще никто и не вспоминал, а русское племя молилось иным правожерным богам и пророкам. А Нестор много всего напутал, присочинил, из тусклого окна убогой келеицы худо видя безбрежной просторы святой Руси, по своей монашеской простоте сотворил свою Россию крохотной и убогой, но не умышленно придумал, не по злобе, не с дурной затеей, чтобы напроказить и унижить (как то позднее накудесил историк Карамзин), но из-за скудного знания земель и народов их населявших. Это был вид из волокового оконца, из-за слюдяной шибки и заплесневелого от дождей паюса, прикрывавшего дыру монашеской кельи... Такова обычная судьба всех летописей, когда потомки и их властители выправляют, выскребают, подчищают, убирают страницы минувшего по приказу великого государя, переписывают, сочиняют небывшее, сдвигают даты и числа, пишут по слухам, легендам и сказкам...

Братцы мои, оказывается, русский народ-то и прежде жил с ясным сознанием бесконечности бытия, труждался на пашне, рбстил детей, ходил на промыслы в свое море, которое называлось Русским морем, пока нас не вынудили съехать «кобыльники» с южных палестин: и мы, вечные скитальцы, погрузились на свои лоды, поднялись вверх по Днепру, волоками перетянулись на Белоозеро, на озеро Лаче, оттуда по Онеге сплыли к Ледовитому морю и признали его своей пашенкой. Освоили, обжили Скифский океан, и стал он для сварожичей новой родиной, а Гиперборею назвали домом русских скифов. И еще многие и не знали, слухом не слыхали в долгом пути к ледяному морю, что Андрей Первозванный отправился по напутствию Спасителя крестить Русь, поразился безбрежности русской равнины, целомудрию и нравственной чистоте божьего народа и на днепровской круче возле стен киевского острожка поставил каменный крест, в дальнейшем трудном пути привлек к Иисусу Христу жителей Смоленска, Полоцка, Словенска, волхвов Валаама, Литвы, вендов, венетов, балтов, рутенов, рогов и ругов-сварожичей (южных варягов-варов) и там тоже поставил каменный крест, которому ныне более двух тысяч лет... Обогнув Европу, апостол вернулся на родину в Грецию, где его и распяли на косом кресте...

Иоанн Грозный, великий русский царь и первый император, гордился тем, что его дальних предков крестил сам апостол Андрей Первозванный, спосланный на севера Спасителем.

И вот прижало нынче, стали колотить-бросать камнем из-за каждого угла, вдруг ставшего враждебным, и бить в потылицу, дескать, вы тут лишние, дескать, похитили чужую землю, присвоили себе и черпаете ковшами безразмерную золотую казну; вот и от победы над немцем понуждают отречься, отказаться от пространств, которые с такими тягостными трудами осваивали пятьсот лет поморы-землепроходцы, выстраивая в Сибири острожки и города, и те, оказалось, кто вбивал первые пограничные колья будущих зимовий, были выходцами из Мезени. Братцы мои, разве это не чудо, что когда-то по этим улицам ходили Окладниковы, Ружниковы, Откупщиковы, Личутины, Коткины – настоящая легенда Мезени, которую наезжий бытописатель Максимов, не проникшись прошлым этого героического края, вдруг издевательски обозвал мерзенью, дескать, хуже этого местечка он не видал во всей России, куда бы ни заносили его путешествия...

Зарубежные летописчики прописали русских в ледовитом океане лишь концом XVI века, дескать, ранее севернее устья Двины русских мореходцев и не бывало, дескать, приплыл

Баренц и привел «географию» в полный иностранный порядок, дал свои названия, воткнул свои флаги. И эту заведомую ложку дегтя на русскую историю охотно плеснули доморожденные русофобы и кобыльники, та отвратительная «ученая» отрасль человечества, та изворотливая и наглая капиталистическая порода, что, по определению Маркса, ради даровых тысячи долларов готовы задушить собственную мать. и все уверяли с глумлением, дескать, русский – вечно пьяный дурак и лентяй, душою раб и пресмыкатель, ни на что доброе не гожа, но только вредить ближнему и помыкать слабым. И этим клеветам у нас в России охотно верили и верят нынче, и готовы сбежаться в стаю, чтобы лай стал гуще и зловоннее.

Хотя русские изучили капризы Ледовитого океана и северных морей и за тысячи лет, когда пришли в Лукоморье с берегов Дуная как русские скифы, создали науку вождения судов, изобрели удивительный корабль-коч, равного которому не было во всем мире, и заключив нравственный союз с Ледовитым морем, стали неторопливо обживать его, сделали своею пашней, другом и кормильцем. А плавание в северных водах не идет ни в какое сравнение с попугайно-пальмовыми жаркими морями, ибо сами арктические условия требуют жертвенных «сильных» мужественных людей, готовых на страдания и смерть. Плаванья на северах редко кому даются, а кто сладил с Ледовитым океаном, уже не захочет с ним расстаться до последних земных дней.

Когда после четырех месяцев жуткой ночи вдруг на горизонте на одно мгновение вспыхивает солнце, то зверобои, оставшиеся в живых, вырвавшиеся из объятий грумманланской Старухи-Цинги, после радостных объятий не промедлив отправляются в море на карбасах длиною в две сажени бить моржа: уходят в море вдвоем, гребец и рулевой, нередко верст за пятьдесят от берега в поисках зверя. В конце февраля это не самое ласковое время, да если еще заподудует сиверик или хивус со снежными зарядами, и начинают мужики замерзать. И, чтобы отогреться, лихорадочно гребут к берегу, насколько хватает сил. Они не боятся, что затрет льдами, перевернет ветром, потопит буря... «не та спина у грумманланов, и все они братия приборная», – говорят они про себя, похваляясь молодецкой силою.

Нередко близ Груманта находят карбаса с трупами заколеченных зимовщиков. «Тела роют в воду, а карбаса забирают». Так все лето стреляют моржей, морских зайцев, нерп, белух...

* * *

Очень трудные для работы и коварные большие и малые бруны не всякому встречному-поперечному распахнутся навстречу. Коварные корги и потаенные песчаные мели, поливухи, баклыши и бакланы, пловуны, виски, гранитные лбы, каменистые и няшистые лайды, осоты прибрежные, каменные переборы в устьях рек и железные ворота, которые открываются кочу с невыносимым стоном, лязгом и громом, готовые заловить судно и потопить на входе в реку, песчаные мели, постоянно меняющие свое место от приливов и отливов, шары и шарки, куры, виски, сулои и сувои, донные течения, вихри, водовороты, при которых меняется характер морского пути и возникают множество коварных препятствий, да к тому же десятки ветров со всех направлений, внезапные штормы и затяжные штили, при которых невозможно двигаться, метели и бури, ураганы и штормы, коварные шхеры, губы, заливы, куда рискованно войти, чтобы не остаться там взаперти. А сколько всяких льдов встретит моряка, если застанет внезапно поздняя осень и со всех сторон навалятся невесть откуда взявшиеся торосы и станут терзать несчастное судно, испытывая на крепость, которое из красавца, изукрашенного мифическими аллегориями, вдруг становится крохотным, беззащитным и жалким.

Стивен Барроу, шедший Ледовитым океаном в Китай за пряностями, полагая, что «Теплое море» находится сразу за Обью, закончил свое путешествие возле Кулоя, откуда спускались рекою в мезенскую губу множество кочей, чтобы пройти в устье Мезени, а оттуда, обо-

гнув Канин нос, податься на Новую Землю иль на Грумант промыслять моржа. Барроу даже не довел экспедицию до Мезени и, утопив три корабля, был вынужден вернуться обратно в Англию. А в устье капризной Мезени его встретила бы изменчивая Мезенская губа с самыми высокими в мире приливами и разбойный ветер. Без русского кормщика в реку нет ходу, и даже в XX веке стояла в Кузнецовой слободе лоцманская служба, пока совсем не прекратилось судоходство.

Если нет в летописях о русском судоходстве, о мастерстве кормщиков и строителях кораблей, о дальних походах еще во времена древнего Новгорода и много ранее, если не написано, как Андрей Первозванный крестил Полоцк, Словенск и Валаам – это не значит, что подобного не было и не могло случиться, как рассуждают нынешние ученые с усмешливым блеском в глазах: дескать, мели, Емеля – твоя неделя... носи в себе свою дурь, но не выноси на люди, засмеют.

Капитан Стивен Барроу писал в отчете о той экспедиции 1556 года на восток: «Поморы-промышленники согласились сопровождать экспедицию на восток, сообщили, что они знают дорогу на реку Обь. В ходе плавания я убедился, что все они прекрасные мореходы, а их лоды быстроходны и гораздо более приспособлены к плаванию в Арктике, чем английские корабли».

Англичане побывали у южных берегов Новой Земли и встретили здесь несколько русских людей во главе с помором по имени Лошак. От них получили сведения о деятельности русских поморов не только в южной части новой земли, но и в районе Маточкина Шара.

Знаменитый сотрудник пушкинского дома М.И. Белов, собравший в Поморье единственную в мире коллекцию старинных письменных книг, поморских рукописей и древних актов, изучая поморские суда XV–XVI веков, отметил, что «коч как первое морское арктическое судно по своей конструкции и ледовым качествам не имело ничего равного в тогдашней мировой практике судостроения. Строили не только большие кочи. Для прибрежных недалежных походов, для пересечения губ и перехода по волокам строились «малые кочи», поднимавшие от 700 до 800 пудов. «По удобству преодоления волоков и плавания в мелких морских губах таким судам не было равных».

Именно на кочах была освоена поморами огромная Сибирь, на этих «неказистых» собою суденках вышли русские на Алеутские острова, Северную Америку, открыли северный пролив в Тихий океан, на Сахалин, Камчатку и сделали Русь великою державою. Но даже помор Михайло Ломоносов не сразу уловил дерзость северного судостроителя-самоучки, не знавшего чертежей и специальных регламентов при создании морского коча, ибо был обманут внешней картинкой зарубежных кораблей, их надменной красотой, обводами, огневой мощью, парусами, такелажем и экипажем, оснащением эллингов, удобством управления, знанием морской науки, намного превосходящих неказистую, «уродливую» мезенскую посудинку, выпешдшую от топора помора-плотника, одетого в оленью шкуру и смазные долгие бахилы по рассохи...

Да и пример императора Петра, резво «шагнувшего» из крохотного шутейного ботика на английские стапеля с топоришком под царскую руку от детской забавы, наивно взявшийся за крестьянское ремесло, решив обтесать шпангоут брига (кокору), не знавший, куда и как применить свои царские ладони, не знавшие трудовых мозолей, но лишь детские забавы. Эта видовая масонская картинка с царем Петром на стапелях сбила мужика Ломоносова с толку, но, возвратившись из Германии в Россию, освободившись от европейского угара, Ломоносов довольно быстро вернулся в природный скептический ум, дарованный господом и так необходимый в науке: холмогорский мужик, плававший с отцом к берегам матки, скинул прельстительные юзы чарующей шоколадной обертки, британской и свейской обманки, решительно шагнул в русскую природную культуру, которая к тому времени насчитывала уже тысячи лет, а европейская была молода и наивна; как истинные протестанты, запад в каждом новоделе ценил искус, красоту внешнего, не внутреннее содержание, но форму, чтобы внешним обвести покупателя вокруг пальца, завлечь под тайный умысел и тем ловко «снять навар» (прибыток). Но

Ледовитый океан не поддавался иноземным уловкам и заставил смириться с его суровым величием и особенной скифской красотой. Подружившись с Ледовитым морем, русские поморы подтвердили воочию: они русские скифы...

Неизвестно точно, когда поморы пошли в голомень, оторвались от родных берегов, но с изобретением «коча», способного плавать во льдах, поморяне заглубились в Скифский океан и открыли Шпицберген. Угорские же племена, пришедшие с Алтая, моржей не били, занимались таежной охотой и водили оленей. Норвеги, что живут напротив архипелага, с больших кораблей били из пушек китов и в то же лето возвращались в родные пристани, не зимую на ледовых островах. Они удивлялись бесстрашию русских поморов, что охотились с кутилом и спицей на свирепого моржа, а с рогатиной – на белого медведя. Они считали Грумант русской землею: дескать, поморы не боятся зимовать на гранитных скалах в стужу и во мраке...

На карте Меркатора 1569 года севернее Скандинавии возле архипелага Шпицберген показаны семь островов под названием: святые русские... В 1576 году датский король Фридрих II сообщает в город Вардё своему наместнику, что в Коле живет русский кормщик Павел Нищец, который ежегодно около Варфоломеева дня (24 августа) плавает на Грумант. И он поможет провести датские корабли в Гренландию. А что тут удивительного, если в Коле и на Печенге к тому времени уже четыреста лет жили и промышляли выходцы с берегов Белого моря и бедовали монастырские иноки, пробавляясь семгой, треской и селедкой...

Поморы ходили на Грумант на промысел моржей, белухи, полярного медведя (ошкуя), охотились на голубого и белого песка, на оленя, которых водилось на архипелаге в изобилии. Основным промысловым судном в X – XVII веках, на котором зверобой плавали в океан, был коч – деревянное двухмачтовое судно с грот- и фок-мачтами длиной до шестнадцати-семнадцати метров, шириной до четырех метров и с осадкою два метра. Коч хорош в плавании во льдах, строили посудину в короткое время в самых трудных обстоятельствах одним топориком и напарьей в два-три месяца, крепили деревянными гвоздями и пришивали сосновые нашивы вересовым распаренным кореньем, паруса долгое время были ровдужные, кроились из выделанной оленьей шкуры, позднее перешли на холщовые полотнища. Коч был дешев в изготовлении, не боялся отмелей, подводных корг и корожек, луд и залудий, мог прижаться к берегу, бойко шел под парусами по ветру, артель в пятнадцать мужиков легко выгребала судно, когда наступала тишина; если ветер дул в зубы и сбивал с курса, то роняли паруса на палубу и высаживались на берег, иль заходили в губу, или попутное становище, но против ветра паруса не работали. Это был, пожалуй, единственный недостаток промысловой посудины, порою досаждавший охотникам. Округлые борта коча и бескилевое днище «яйцом» позволяли судну плавать по морям во льдах и сибирским порожистым рекам, и когда разбойное море грозно торосилось с тяжким стоном и уханьем, угрожая артельщикам потопить их без отпевания, без прощания с близкими, поморы, почуяв безысходность минуты, но не теряя духа, не лия горестных слез, выкидывались на матерую льдину и «анышпугами», которые были уже наготове, вываживали посудинку из пучины... хваткими добрыми мастерами в корабельной работе ценились мезенские плотники и были в почете по всей Сибири.

* * *

Как говорится: опыт – дело наживное, но приходит он с годами и веками. Поморы сидели вдоль океана на тысячу верст на двенадцати берегах и везде, в каждом селище, селе и погосте, вырабатывался свой уклад, манера плавания, обряды и обычаи, устройство дома и двора, деревенский мир, склонности и привычки; на каждом берегу были свои предания, легенды, история, жили все от моря, но от своего угла, берега, болотин и суглинков, лесов и озерин, от своих лайд, поскотин, заливов, губ и висок, путей и перевалок, – жизнь не сочинялась из головизны тысяцкого, или на потребу купчины пустоголового, волостного тиуна, губернского

чиновника, наезжего барина, но сам сельский мир выбирал в столетиях свой устав и направление жизни, и каждый житель не ткал свою нить поведения, но диктовала деревенская община от рождения до смерти. Только казалось вольному поморянину, что он свободен жить сам по себе: но если нарушил вековечный обычай, пренебрег опытом старших, то, милый ухорез, – вон из селища, и там, «на чужой сторонущке», пользуйся своей волею, сумасброд окаанный, как тебе придет в голову, но не лезь к родным берегам со своим уставом. Вот тебе бог, а вот и порог, не думай, что в своей деревнюшке, пусть и с десяток изобок, можно выхаживаться перед людьми, атаманить, – живо приструнят, раскатают по лавке, растелешат и накидают плетей, отлупцуют, лежи опосля на печи и причитывай мстительно: «Ну, погодите, гужеды и кисерезы, покажу вам кузькину мать, небо с овчинку повидится»... А минет малое время, и будто несносимая обида куда-то источится, словно веком ее не бывало, и душа уже не ропщет, не рвется из постромков, а зовет в мир, в толпу, на родной угор, где толпятся мужики, те самые трескоеды и кофейники...

Как ни дерзновенны были молодые бессемеинные мезенские казачата, в какие бы рискованные охоты ни пускались за тысячи верст от своего дома, но обычаи родовые, своего погоста, неугасимо, немеркнуше жили в груди, и мезенские промышленники возвращались на свою реку, к родовым истокам через много лет. И если по молодости ты кочевряжился возле мирской избы, кричал в хмельном угаре угрозы старшинке в приотдернутое волоковое окно: «Де, я тебе устрою кузькину мать, сучий потрох, небо с овчинку станет, сволочь такая...» Но отплыв за пределы родного печища, ты уже с какой-то тревогой и печалью вспоминаешь дорогие с детства пажити и не можешь выкинуть из ума все, оставленное вроде бы за ненадобностью: и вдруг оно-то и покажется единственно необходимым в жизни, за что можно и умереть.

Значит, что-то единило их всех, каждую деревнюшку, затаившуюся за горушкой, куда уже не доносился морской прибой и ледяной морок, – а собирали в груд, строили общую судьбу, земля, такая трудная для проживания, и Ледовитое русское море, куда бы ты ни бежал от него. Море лепило, шлифовало особенный характер русского колена, необычного поморского племени, сидящего на двенадцати берегах белого моря: это ледяной Скифский океан выкраивал и сшивал нерасторжимой вервью не только судьбу северного народа, но и дерзновенную русскую натуру...

Поморье было огромным государством в государстве Россия; берегом океана от Колы до Оби; если вглубь матеры – до Вологды, Выга, Перми, Вятки; это Каргополь и Архангельск, Мезень и Великий Устюг, Мурман, Онега, Соль Вычегодская, предгорья Урала, Кандалакша, Усть-Сысола, Пинежье и Печора – земли, превышающие любое европейское государство, а может, и всю Европу. Прежде на картах называли: Скифия, потом писали: Поморие. Если норвеги, даны, свеи и британы делали пиратские набеги на соседей, грабили богатых, взяли Париж и Рим, тем временем поморы, не вызывая в Европе своими деяниями особого шума и перетолков, проникли на кочах и, карбасах, оленях и собаках в самую сердцевину великой Сибири и поклонили под русского царя владения монгольского владыки. Так что поморский коч – это не игрушечный детский ботик царя Петра I, а национальное достояние, приведшее русский народ к славе и богатству.

7

Дул обедник, ветер с горы, уросливый и поперечный, сейчас теплый, щеки колонковой кистью гладит, и вдруг случается с погодою злая перемена, начинается бухтарма, туман заведывает всю округу, поднимается ветер с Бурунами и нагнетает волну с белыми гребнями, терзает морскую воду в пыль, и это сеево развешивает над морем непроницаемым покрывалом, так что ничего не видать в округе, и приходится плыть наугад лишь по компасу (матке).

...Но пока спускались по Мезени до устья на полном приливе, была тишь да гладь, – божья благодать. Шестеро мужиков сели за гребни, четверо встали по бортам с шестами, мерять глубины, двое у лебедки с якорем, подкормщик у правила, еще двое принялись разбирать на палубе паруса и такелаж, кормщик Фрол Сазонтович Макалёв в носу, внук Петрухич забрался на марс, из бочки торчала соломенная его голова. Кормщик порою окрикивал внука, чтобы не дремал: «Петрованко, гляди пуще, осторонь не пяль глаза, ничего там не потерял. А на девок еще рановато пучиться, надрочишься, каковы твои годы», – миролюбиво снижал голос дед, переходя в последних словах на шепот, внимательно обводил взглядом сиреневый горизонт, высокий угор из бурого камня-арешника, на вершине которого выглядывают темные крыши рыбацкого выселка семжа в три избы. Мала деревнюшка, да славна мореходцами: гуляют своею волею во все концы света – прозеваешь, ворона, еще не поздно на берег ссадить». Отрок не отзывался, он впервые был в таком почете, вынылся под облака, аж дух замирает. Море виделось во весь распах и при взгляде на голомень, откуда накатывала бесконечная гряда волн с белыми гривами, – охватывал мальчишку восторг: кружились над палубой, выпрашивая подачку, готовые выклевывать у петрухи глаза, визгловатые чайки-моевки, убегали прочь глинистые кручи и травяные наволоки, вороха редющего ивняка, промысловые изобки, возле которых трудились мужики с деревеньки пыи: вытрясали сети, чистили рыбу, готовили на полднице ушное. Семги взлетали в воздух из-под судна серебряными коромыслами и с плеском возвращались в убывающую воду. Надо было спешить, и мужики дружно напирали на гребни, шестовики ловили глуби и мели, чтобы не обсохнуть, не сесть на кошку. Не хотелось артели опростоволоситься в самом зачине дороги, когда вон, совсем будто рядом, за Кузнецовой слободою маревят обманчиво купола Богоявленской церкви. Едва отшатнулись от слободы; изба родная совсем рядом, а тут такая морока. И ты, кормщик, не у тещи в гостях, не считай ворон, не позорься, христовенький, не кисни под пазухой у Господа; а песчаные кошки гуляют по дну реки после каждого междуводья, угодишь на дьяволью обманку – и загорай полсуток на посмешку мещанам, жди нового прилива, когда придет вода и снимет посудину с мели...

«Дед – молодец, он промашки не даст. Сам же учил меня: коварная Мезенская губа не любит спесивых и трусливых», – думает Петруха, поглядывая из бочки за кормщиком.

...Братцы мои, кто бы знал: только сдвинулись с родного прибежища, а уже сколько картин приняло, хмелея, отроческое сердце...

* * *

Коварно мезенское русло, кочует с берега на берег, мели да перемелья, банки, корги с корожками, поливухи-валуны под тонким слоем прилива, бакланы, переборы и камни-одинцы; сколько всяких переград поставил Сатана на пути к промыслу. Бог-то он Бог, да и сам-то не будь плох, вбирай в себя отцову науку, впитывай каждую зазубринку и прихоть ледяного моря, которое надо жаловать, почитать, но не падать ниц, стоять впоровенку, глаза в глаза, да почаще и с умом не забывай перелистывать «поморское правило», которое лежит у деда в казенке на столе и придавлено для надежности камнем-голышом.

(Еще в стародавние времена северные мореходцы создавали «уставы морские», «морские указы», «книги морского ходу», «морские урядники». В старой морской лоции говорилось о природе ветров, о распорядке приливов и отливов в Белом море, о том, как угадать погоду по цвету морской воды, по оттенку неба, по форме облаков. «Плавающий ледяной указ, или Устав о разводьях и разделах, како суды ходити и кормицу казати». «Морской устав новоземельских промышленников».

Опытный кормщик знал суточное время прохода меж льдов, ибо судоходные разводья во льдах регуляторы, поскольку регулярна череда суточных морских приливов и отливов. Многие рыбаки и зверобой вели свои записи или изустно передавали свои наблюдения. Так, мезенский промышленник Малыгин рассказывал: «В нашей местности на койденском берегу разное течение воды у прилива и отлива. Три часа идет в нашу сторону из полунощных (северо-восток), потом три часа идет в шелоник (юго-запад). Так ходит и прибывающая и убывающая вода. от берега в голомя, на оржовец вода компасит: два часа идет под полунощник, потом под восток идет три часа, потом под юг около трех часов, потом под запад идет четыре часа. Опытны знаем, по компасу сверено...

Я родом с Мезени, но и не слыхал о таких сложностях с движением вод. Мы думали, прибывает вода, кротеет и отливает, но никогда не задумывались о такой сложности поведения моря и зависимости от Луны.)

Фрол Созонтович вел корабль на западный берег Груманта, куда за недолгую жизнь шел на шестую зимовку. Полвека-то разменял, да много ли того времени еще осталось жить? Вот и тащил с собою Петрухича, чтобы внук сызмала входил в морскую науку. Мысленно перелистывал в памяти, не позабыл ли чего важное в слободе, хотя вспоминать-то уже поздно бы, но перебрать на уме надо и держать в голове наготове, чтобы опосля не кипеть натурою, не пылить напрасно, не ругать покрутчиков за забывчивость, не хвататься, как утопающий, за соломинку.

Вот, мезенские вдовы слезно просили, чтобы не забыл Фрол Созонтович просьбу, поспрашивал бы на станах, не оследился ли кто из потерявшихся мезенцев, не ходят ли на коле и Печенге слухи о разбойном шторме, когда десятки судов разом раскидало по океану, не разносят ли сказки о чужих в западной стороне людях...

Ведь не могло так стать, что погинули все, словно булыга в воду. Человек не камень, не земная бесплотная тень и какой-то следок всегда оставит по себе, если присмотреться к матери сырой земле. Созонтович обещал исполнить вдовью просьбу и даже чувствовал, как невольно омокают его глаза и проседает в жалости душа, когда прощался. Но сейчас, настрополившись всей натурою на промысел, невольно приотдвинул вдовью слезницу на зады памяти, стал суров и строг к себе и к артели, чтобы не превращать ватагу в труху.

Кормщик примерно знал, куда править коч, ведь новую промысловую избу решили не ставить, чтобы не входить в лишний расход; только нарубили четыре разволочных зимовейки для отходников и амбарушки для хранения промысла от ошкуев, что так и трутся, белые разбойники, возле разволочной зимовейки, выламывают дверь и оконницу, чуя человеческий дух, запах ворвани и топленого моржового сала, заправленного в светильник, и оленьих копченых задков, — вот и рвутся, паразиты, на разбой. Коли повадится медведко ходить к зимовье, вырывать с корнем дверь, один тут выход — встречай на пороге пищалью, не робея, иль рогатиной, иль с ножом. Случалось и такое, придется искать становище в западной стороне Груманта: там вековые разволочные кушни у мезенцев, свое ухожье, свои древлеотеческие образа старого письма и набитые за столетия охотничьи тропы.

...Места тюленых и моржовых промыслов в Поморье никем не назначаются, не разыгрываются в жеребий, не отдаются в оброк, не продаются и не покупаются, а владеют ими те жители зимнего берега, кто первыми когда-то в прежние времена сели на уголье и стали промыслять. Занятие трудное, не всякая душа притерпит к этой кровавой работе, тяжелый хлеб насущный приходится отвоевывать мезенцу у ледовитого океана, и порою этот трудовой кусок

застревает в глотке, и только память о жене и детишках понуждает мужика держаться за зверобойку из последнего, пока есть здоровье, и промысловые пути остаются за этим промышленником на долгие годы, а порою и сотни лет, переходя по наследству: так случилось со становищем старостина, где его род (выходцы из Великого Новгорода) занимались на Груманте охотой на моржа более четырехсот лет.

Таков обычай установился по берегу океана от Колы до Ямала, и никто из промышленников не нарушал устав сельского мира, да и власти не встречали. Обычно выбирались промышленные места невдали от дома, чтобы надолго не разлучаться с семьей, или садились на ухажья, ближайшие к селитьбе. Так мезенские мещане и крестьяне из Семжи, Долгой Щели, Нижи, Сояны, Лампожни, Койды занимались зверем в восточной части Белого моря на четырех путях: зимнеостровском, кедовском, устьинском и конушинском. Жители выселков, севших по речкам Вижас, Ома, Снопа, Пеша и Индига били зверя в Чешской губе; пустозерские охотники промышляют у островов Колгуев, Варандей, Долгий, Вайгач, в Югорском шаре и близ берегов Карского моря, на Шараповых Кошках. Но мезенские мещане хотя и чтит старинный устав и, не покушаясь на чужие ловы, настойчиво искали новые корги, богатые зверем, уловистые, рыбные и оленные; кочевого норова, мезенцы веками заезжали на самые дальние острова, а позднее двинулись и на восток, на сибирские реки.

Мезенские охотники имели решительную натуру, боевую, и считались в Поморье самыми опытными, любознательными, смелыми мореходами, охочими до перемены мест. Потому их брали во все русские экспедиции от Семена Дежнёва, адмирала Чичагова, Пахтусова, Цивольки до адмирала Колчака. Со временем вдруг обнаружилось, что в самых важных и трудных открытиях и государственных предприятиях обязательно участвовали мезенцы и пинжане, что жили в соседях в Кеврольской волости по реке Пинеге, крестьяне Кулоя и Выга, Вычегды и Белоозера охотно впрягались к слобожанам в покрут, не пугаясь смертельного исхода... Вот и на Груманте, и на Матке особенно добычливыми и азартными в охоте на зверя славились мезенцы с зимнего берега: со временем название реки Мезень (как фамилия) распространилось в Сибири, а позднее перекочевала в Московию. От мезенца пошли: Мезенцевы, Мезени, Мезеневы, Мезенины, Мезенкины, Меженины. Таежная река Мезень тянется от дальних пермских суземков между Северной Двиной и Печорой как межа, делившая Тайболу, – родину многих, уже забытых народов, населявших когда-то богатые вотчины (белоглазая чудь, скифы, сыртя, мегора, мотора, печора, мезяне, пезяне, золотичане, зыряне, суряне).

Через пятнадцать веков на их место пришли ижемцы, пермяки, остяки, манси, лопь, самодины. Мезенская слобода хоть и потеснилась временно на рубежах Руси Заволочской, но не уступила пришельцам с Алтая своей наследной божьей пашенки – Скифского ледяного океана.

Мы так привыкли к узаконенной географии, что придирчивый взгляд уже считается инакомыслием, предательством религиозных правил, и вообще слабоумием, которое надо бы лечить. Но так как сама-то церковь уже тысячу лет шатается на распутье, норовит упасть, блажит в ересях и плохо знает, куда брести, куда выторить, косоглазой, свою неповторимую дорогу, то и путливое мельтешенье по истории уже принято русской церковной властью за поиски истины. Однажды поддались уловкам «не наших» при царе Алексее Михайловиче, не разглядели хитрых скидок «ереси жидовствующих» и, лютуя на первого русского царя Иоанна Васильевича, сбились с заветного пути в лютеранскую сторону... Бояре, ища выгоду себе, создали в стране смуту, перекинулись под поляка и едва не потеряли свое государство и родину...

Пока наш коч, поднявши паруса, радуясь спутному ветру-обеднику, мчит в север вдоль канского западного берега к завороту на Матку, а там к Максимкову становищу на западном берегу новой земли... а от нее уже отворот на Грумант. Дорога торная, хотя и не видимая простому знанию, но для кормщика, кто не раз хаживал этими местами, известна и расписана в

«поморской лоции». Ведь не наобум правит свой коч мезенский кормщик, не спустя рукава, по народному присловью «сапоги дорогу знают». Нет, не сам от нечего делать схватился Созонтович за руль плавучей посуды, но весь род его исстари водил сальные промыслы, всю округу до Мангазеи исходил, до Тоболеска плавал по Оби, нанимаясь к купцу Ружникову, и ни разу не оступился, хотя у ледяного моря нехитро угодить в плен и в забвение, если не помирволил ты батюшке Скифскому океану и тем проявил свою спесь. Основа морской науки – сами пути, которые ты прошел, придирчиво вглядываясь и запоминая каждую извилинку трудной дороги, заноса все необычное в рукописную памятку. Так и создавалась поморская школа для плавающих по ледяному океану... Но как ни отважен ты был, как ни сметлив – помни: помор в плавании ошибается лишь однажды, за ним следят пучина и «груманланский пес». На тот случай неотлучно держи господу в памяти, не попускай душу – растечется, а глаз блюди зорким и схватчивым, чтобы не промахнуться случаем...

И вот обогнули Канин, туго всхлопал парус, ветер-шелоник оказался в самую спину, и коч бойко потек к Югорскому Шару, а оттуда к Новой Земле, чтобы, пройдя Маточкин Шар, выйти на западный берег острова и взять путь на острова Медвежий и Малые Буруны.

Это был вековечный мезенский ход, ибо кола, печенга и двиняне плавали прямо на Грумант мимо кольского острога и управлялись с промыслом в одно лето, редко оставаясь в зиму: охотники с терского берега порою, насмелясь, ходили у Святого Носа, через самое гиблое место, рискуя потерять не только судно, но и саму жизнь: воды кишели морскими червями, тут сталкивались противные течения, свивались в крутой сувой, захватывали обреченное суденко в объятия, разбивали в лоскутья и забирали на дно. А студеный ветер с Груманта ломал мачты и частой рассыпчатой волною укладывал погибающий коч на борт, чтобы способнее было сувою подхватить посудинку в ледяные воды. Но поморы, трезвые умом и расчетливые характером, не совались в эту прорву, обходили страшное место верхом, вздымали лодью на гору и тащили по склизким замшелым бревенчатым кладям древнего волока до спуска в море, тем самым минуя беду.

А путь мезенцев хоть и был длиннее в два раза, но привычен, изучен за века морских скитаний, извилистый, скрытчивый, упрятанный от чужаков, желающих раскрыть русские пути на восток, но более спокойный; не надо уходить в Голомень, далеко отрываясь от берега, чтобы обойти многочисленные корожки, кошки, отмельные места, бакланы, обманчиво принакрытые нагонной водою, коих много понасыпано близ онежских скалистых угорьев и кольских гранитных круч.

Каждый поморский берег имел свои наследованные вековые пути, свои ветра, свои взводни и мирился с ними как с неизбежными спутниками жизни, не вступая в дразги. Главное – не запоздать днями, подгадать время, подойти к мысу Черный и до Максимкова становища не позднее середины августа, пока губы и загубья новой земли не обложило льдами... А впереди еще тысяча верст ходу до Груманта, но уже по вольному океану.

* * *

...А пока стоит, наверное, порассуждать об Окладниковой слободе и мезенском народе, который с таким пренебрежением осудил писатель Сергей Максимов в своих путевых записках.

Мезенские мореходы – промышленники-зверобой, судовые строители, плотники – мастера топорной работы считались лучшими по всей России... И когда Петр, названный поморами «антихристом первым», безрассудно, забывши истинного Христа, взбулгачил Русь, поставил ее на дыбы и, туго зауздав, затеял строительство флота, наивно полагая, что до него не было на русской земле ничего приличного: и что дельного может справить дикий народишко в армяке и заячиной шапенке, по глаза обросший шерстью, с квашеной капустой, застрявшей в нечесаной бороде? А может лишь пить в кабаке, рыгать да булгачить, бурлачить по рекам, тас-

кая дощаники с солью и зерном, сшибая копейку на пропой. То надо эту смиренную скотину пускать в упряжь да кабалу, чтобы батрачил до конца дурацкой жизни за кусок хлеба насущного. Так рассуждал кремлевский очковтиратель, возвратившись из лютеранского запада, ретиво, на долгие двести лет впрягая Русь в крепостное ярмо.

Но Петр, возвеличенный до небес «ушибленными» людьми, отрекшийся от Христа и сронивший церковные колокола задолго до коммунистов, чтобы заглушить воинственный голос Спасителя, стоявшего за униженного человека, скоро запомнил коренную заповедь Христову: что бог дает богатым деньги нищих ради. А Иоанн Грозный, первый русский царь, всегда чтит главное чувство русского крестьянина – нищелюбие... Петр не знал, да и с детских пор не любил православной святой Руси, что толкла под окнами его кремлевских хором: он не знал, да и брезговал ею, отравленный прельстительным ядом чужебесия до такой степени, что забыл самого себя; и ближним из его окружения долго не верилось, несмотря на дикие выходки мсковского властителя, что это их мальчонка император Петр, выросший на пшеничных папушниках и расстегаях с визигою: вернулся с запада в Россию совершенно другой человек в иностранном камзоле и в узких бархатных штанишонках, напоминающий царедворцам опичанного злобного гусака, родной русский Петенька, хвативший иноземного сикера, очарованный дивными сновидениями, но забывший русского Христа, когда отдавал на смертоубийство сына Алексея. Это было начало долгой страшной игры по разрушению своей же русской империи. Царь Петр забыл наставления святых отцов: да не едим чужой еды, не носим чужого платья, ибо через них вступает в человека прельщение и начинает повиноваться им...

Еще ребенком царевич Петр учился плавать на игрушечном ботике, воображая себя владыкою морским. И царь водяной поймал слабости мальчонки, ухватил его за кудерьки и утянул на омовение в чужую бесовскую пучину к своим богам. И никто этого не заметил. И новые соблазнительные молитвы золотой кукле, уловленные от британских масонов и немецких протестантов, перекроили русскую душу на иноземный лад. Вернулся Петр I в столицу Москву уже душевно истерзанным и духовно чужим...

За тысячу лет до Петра Россия уже обладала уникальным огромным флотом, русские суда плавали по сотням рек, перевоза водою грузы, продлевали отечеству жизнь на сотни лет, копили русскую нацию... На просторы русской земли ежедневно выходили в путь конные обозы, сотни тысяч саврасок (миллионы) выправляли свою службу, и тут же в помощь конной тяге выплывали в ледяной океан, реки и озера тысячи судов.

Первые новоманерные корабли, гукоры, клиперы и бриги, для царя Петра строили мезенские плотники на архангельских верфях купца Баженина; и экипажи из молодых парней, бывавших на зверобойке на Матке и Груманте, по приказу императора набирались на Мезени и Пинеге числом восемьсот матросов возрастом от восемнадцати лет до двадцати четырех. И Петр, предавший полярных старобрядцев за их вольный дух, за десятилетнее восстание на соловках, неслыханным глумлениям, не остерегся детей старообрядцев зачислять на флот и с ними одерживать первые победы на Балтике.

В середине XVIII века, когда наш коч идет на Грумант за моржом, новоманерных судов в Поморье было мало, да они и не требовались, ибо плавать до Скандинавии хватало людей и кочей и палубных морских карбасов, пока в теплые моря нашу «посуду» не пускали», да поморы и не особенно рвались в гости к янычарам, грекам, испанцам и латинам. Британцы, даны, шведы и норвеги пытались освоить Ледовитый океан с XIV века, но восточнее Шарпových Кошек не могли посунуться, несмотря на грозный вид своих пушечных кораблей, о которых поначалу мечтал Михайло Ломоносов и даже обзавидовался их изящной красотой, способностью ходить под любым ветром, но, увидев английский флот в деле, крепко разочаровался: «англичанка» до XIX века не могла миновать даже остров Вайгач, шпионила, вела интриги, засылала в поморье лазутчиков, два столетия шведские экспедиции кружили возле Новой Земли, вынюхивая проходы, мечтая проникнуть на Обь, а оттуда на Иртыш и в теп-

лое Китайское море, искала вездесущих поморов проводниками в таинственные ароматные моря... Англия, пия соки из Индии, вдруг опомнилась, поогляделась вокруг себя и тут обнаружила, что у нее прямо изо рта русские варвары выхватывают жирный кусок, огромную Сибирь с лесами, реками и покорными племенами, готовыми быть рабами, так похожими на американских индейцев, и только надо было прорваться через ледяное «дышащее» море, которое уже плотно обсадило русские и забирают богатые дары. Но выстроить путь на восток оказалось делом нелегким, и новоманерный флот, которым завоевали Америку, Индию и Африку, тут не годился...

Но Иоанн Грозный, почувствовав британский интерес к Сибири, повелел срочно выстроить заслоны, таможни, остроги, слободы, крепости. Так появились Архангельск, Пустозерск, Мангазея, Обдорск, Тобольск. Протестантской Британии и лютеранской Германии путь был перекрыт. Европа облизнулась, но не успокоилась, стала наискивать новые дороги в сказные земли, о которых шло столько перетолков по королевским дворам.

...Поморская республика оказалась под угрозой исчезновения: новгородские процентщики, уже подпавшие под «ересь жидовствующих», мечтали запродать великий русский Новгород немецким и польским «спекуляторам», чтобы обменять волю «на золотую куклу». Царь Петр Алексеевич, подыгрывая спесивой «англичанке», решил слиться с нею в объятиях и заменить веру православную на протестантскую, перелил колокола на пушки и обрядил свою знать в самые нелепые для севера одежды, обложил поморов тройной налогом, выставил по дорогам заставы, а особенно непокорных приказал кидать в огонь и воду: неистовый Петр осмелился не только лишить русских скифов природного обличья, но и истереть их вольный дух. Но поморское согласие не отдавало на новые страдания своего Иисуса Христа и, подражая учителю Аввакуму, сами взойшло на костер, тем невольно призывая подняться на защиту русского бога, сея церковную смуту от Тобольска на Оби, в стремительно растущие новые сибирские города...

Да, поморскую республику предложили завистливые новгородские бояре лютеранам, забывши своего русского бога, наслали на Русь торговца Схарию с его «ересью жидовствующих»: хорошо, великий князь Иван III очнулся, когда обнаружил опасность, уже проникшую в Кремль и великокняжеский дворец, разгромил новгородское войско (кованные рати в десять тысяч воев) на реке Шелони и обложил богатых торговцев огромной данью, вывез в Москву десятки возов с золотой казной и выселил умышленников из Новгорода в другие земли, чтобы они откинули всякие мысли об измене московскому государю...

Внук его Иоанн Васильевич Грозный, увидев, как процентщики снова зашевелились, норовя отложиться от Москвы, повторил поход деда. Но духовная битва на том не закончилась; окающая ересь уже глубоко проникла в московское боярство, ждущее нестерпимо, когда же можно скинуть с престола Грозного... и после долгих лет смуты сел на московский стол Петр I, и «ересь жидовствующих» принялась за свою окающую работу, лишая русский народ национального обличья...

Переплелись книжная справа, новины патриарха Никона в православии, мятеж низов Степана Разина, Соловецкое восстание, которое не могла подавить Москва десять лет, ибо монахов монастыря поддерживали не только беглые казаки, но и сторонники древлеотеческого предания из Мезени, Выга, Тобольска. Петр менял сущность духовную русского человека, но народ воспротивился, почуяв опасность своему русскому богу, вздел на плечи невидимые духовные брони. Причины сопротивления были скрыты от православного простеца-человека, но выставили в услугу пошлый сюжетец, далекий от правды; дескать, великий Петр был суров порою и неводержан, но это он выстроил на Руси флот и этим спас государство.

И все это ложь, умасленная шоколадом, от которого уже тошнит. Деяния Петра, истинные его намерения были так глубоко упрятаны «компрачикосами» от народного взгляда, от его искренних заблуждений и мечтаний, что в этом растерянном сомнамбулическом состоянии мы

живем и поныне; и хотелось бы поверить в истинность изукрашенных подвигов императора, но сразу же подстерегают сомнения: сколько бы ни величили царя, но как зашпаклевать народное понимание о духовности Петра: «антихрист первый...» и хотелось бы скрыть это мнение от пересудов, да всем старообрядцам рот не зашьешь.

Отсюда, наверное, такая неприязнь Петра I к окраине русской земли, где никогда не замирал русский дух, выкованный ледяным Скифским океаном. И хочется Петруше «раскатать его по кочкам», но и жаль житницу государства, его богатую кладовую, полную мехов и серебра... Но очень старались блудливые масоны, прибывшие на запятках его кареты, чтобы на глазах всего русского народа в большой угол на тягле выставить образ Петра рядом с иконою Спасителя, которого он презирал и ненавидел.

Земли севернее Ярославля именовались на картах мира то Скифией, то Поморием, но это были земли русского народа, который жил возле Ледовитого океана издревле (а может быть, и всегда), пытался сохранить себя сначала под началом Ростова Великого, потом под Новгородом, но был сам себе на уме, не потворствуя и особенно не возражая: этот русский народ жил в Гиперборее под боком у Ледовитого океана, потому имел особую закалку и природное воспитание.

* * *

Поморские суда были легки в работе, не требовали многих капиталов, обходились дешево, строились за два-три месяца, получив разрешение у якутского губернатора. Кроме кочей, на которых была открыта и освоена вся великая Сибирь и Тихий океан, мезенские плотники ладили промысловые карбасы (самое древнее универсальное судно от небольших весельных, беспалубных, до трехмачтовых грузоподъемностью в 25 тонн; карбас легко всходил на волну и был устойчив, его не заливало волною; поморы не боялись пускаться на морском карбасе в самые дальние тяжкие пути сквозь льды на Грумант и Матку, в Карское море, на Обь, Енисей, Лену, Тихий океан, Северную Америку, Сахалин и Камчатку. Буквально половина мира была освоена за два века русскими поморами на кочах и карбасах; и вот царь Петр заявил, а ему поддакнули тысячи прислужников-очковтирателей, дескать, что у России никогда не было флота, а царь Петр его создал). Строили тогда на Мезени (и в Поморье) уже тысячу лет шняки, кочмары, зверобойные лодки, лодки-однодеревки, шкуны, яхты (гукоры, клиперы, кутеры, галиоты, гальяши), барки и баржи, боты и лоды...

Лодья – палубное судно длиной до двадцати трех метров, две-три мачты, брала груза до трехсот тонн (восемнадцать тысяч пудов), с плоским килем, что позволяло входить в устья небольших речек, в заливы, виски, шары и курьи, на отливе оставаться на берегу, не боясь омертветь, и проводить зверобойку, строить стан. Шили лодьи от старины глубокой и до наших дней, пока парусные суда не отошли в прошлое. На лодьях доставляли грузы, ватаги морских охотников, вывозили промыслы с островов, вели торговлю со скандинавами, переправляли станковые избы, рубленные в Мезени по заказу купца, амбары, бани и разволочные кушни на Матку и Грумант... Но для сборки лодьи уже просилось кузнечное железо: барошные скобы, кованые гвозди, крепления для мачт, якоря, цепи, что удорожало стройку, ибо на дальние реки Лену и Индигирку надежных путей еще не было и перевозка кованого «железа» на сибирские стапеля со множеством перегрузок с лошадей на кочи и баржи стоила больших сил и средств. Да и бурлаки, что таскали суда по волокам, нанимались тоже не задарма, не за красивые глазки тянулись мезенские казачата на край света, и они нуждались в оплате, каждая копейка для промышленника и торговца были на счету... Сегодня ты, христовенький, вроде бы богатыня, снаряжаешь корабли под царев наказ для поиска новых ясачных земель, строишь кочи и лодьи, а завтра одна экспедиция рухнула, другое судно разбил на море шторм, третью посудину вместе с командой забрали торосы... И такое случалось на веку на северах... Авторитет доброго

промышленника подточен, капиталы на нуле. И не каждый стоящий умелец-покрутчик пойдет к тебе в ватагу, и не каждый мезенский плотник возьмется за топор строить новый коч... на Лене мезенские умельцы-груманланы в большой цене. И ты уже не кормилец, а бедняк, смотришь в чужую горсть, ибо последний грошик провалился в прорешку кафтана, и ты нынче – нищета, прошак с зобенькою по кусочки... Голь кабацкая... Начинай божьи труды сновья...

Пользовали лодьи (как мне думается) чаще всего для большой торговли, люди фартовые с купецким размахом, по разведанным путям возле «матеры», когда прибрежные воды осво-бождались ото льдов... не любящие идти в прогар, зря тратиться, с большим почтением к прибытку и серебряному рублю.

А кочи шились вересовым пареным вичьем, притягивали нашвы (бортовые тесины) к шпангоутам (кокорам) деревянными гвоздями, и якорь в сотню пуд был из елового выворотня с привязанной в развилку «булыгой», и парус-то ровдужный из шкуры оленя (за эту отсталость в судостроении и хулил Ломоносов своих земляков: правда, вскоре повинился за несправедливую критику). Вроде бы самоделка мужичья на скорую руку, чтобы пережить трудную минуту, но куда без коча в арктических морях? Пробовали британы-похвalebщики обойтись, да скоро утратили гонор. Красавцы клиперы тонули еще на подходе к Вайгачу и Шараповым Кошкам, в железных воротах в устье Мезени, Печоры, Оби. Вроде бы вот он: Ямал, Обская губа, златокипящая Мангазея, Обь, куда разом шли флотилии из сотен поморских кочей и морских карбасов.

... Вот и кусай локти, шишига окаянная, «немтыря» поганый, видя, как мимо проплывают русские суда в сказочную златокипящую Мангазею. Вот оно, богатство-то, «протекает меж пальцей, а не ухватишь»... Где-то тут, на полуострове Ямал, прячется, по рассказам бывалых, заколдованная золотая старуха с ребенком, а попробуй, поймай за подол...

8

С сорок третьего года на пять лет растянулась тяжелая ледовая обстановка, сорок судов взял к себе океан, погибло более восьмисот мореходцев. Но общей беды поморье не представляло, ибо неоткуда было черпать вестей, потому и не было общего поминального списка утопших, отпеваний и поминок. И кормщик Макалёв, шибко не задерживаясь, вел судно в запад, пока стоял спутный ветер, с надеждою найти становище не позднее первого сентября, на Семена Летопроводца. У Малых Бурунов еще не ко времени, но уже торосился лед, обнимал скалистый угрюмый берег, вползал в становище, промысловую мезенскую «усадебку». И если кто зверовал тут в лето, то иль давно подался в дома, или нынче не приходили вовсе. По той пустынности океана, когда редко вдали вспыхивал парусок одиночного судна, было понятно, что искать Иньковых бесполезно, уже давно почивают они на дне морском, на долгий отдых повалились...

Из казенки вышел на палубу сказитель Старин Проня из нижи, прозрачная борода в пояс, голубые глаза от долгого похода призатухли (под пятьдесят лет. – *В.Л.*) старик в оленней шапке-ижемке с длинными ушами и в малице. Встал подле корщика, вгляделся из-под руки на мрачные утесы Бурунов, в прогал меж скал виден был травянистый зеленый наволочек, стекающий ручейком к океану. Проня не раз становал на этом острове, знал, что промысловое зимовье версты за две от становища, но обычно тут стояли у поморян вешала, где сушились рыбацкие сети, бегали лайки, ретиво отшивая ошкуя, лаем давали знать в зимовьюшку, что явился хозяин. Нередко на этом наволоке, когда позволяла погода, затеивали костерок, готовили ушное, прежде чем идти на промысел. Чуть правее была не то лайда, не то крохотная виска, обсаженная гранитной оградой, в эту природную гавань и заводили коч, заносили высоко в гору якоря. А нынче было непривычно тихо, не спешили мужики с погрузкою, готовя коч к отправке домой, нежилым веяло как-то на оленном острове, словно бы окончательно передали власть костлявой Старухе-Цинге, дочери царя Ирода.

Проня вздохнул, стянул с рук вачеги, рукавицы (наладонки обтянуты кожей нерпы), охлопал, протянул вдруг со слезою в голосе. Голубые глазки призаволоклись: «ведь не поверишь, поди, Пров Созонтович, вот в этом самом месте вся жизнь моя прокатилась, как один вздох». – «Ну так что ж, бывает, – нехотя отозвался кормщик, закричал марсовому: Эй, не спи таотки, не отвлекайся... не хлебай щи вилкою, пронесешь мимо рта... Ерофей Павлович, – скомандовал подкормщику, – возьми руля в голомень. Как бы нам тут не омелиться, корожистое гулящее место... сколько раз ходил, а все опаско, как внове... Да что я тебя учу, не новичок, бат».

Коч резко вильнул в лето, всхлопал парус, и Малые Буруны отшатнулись, затуманились. «Научи дурака богу молиться... сколько говорено: не крути шибко правило, руль не бабья стряпка... никак нейдет человеку, уж такой рожен, на переделку не гожен... не в коня корм... Чего расселись?! – переметнулся на артельных, – беритесь за шесты, в заворот идем. Как помнится, нос тут долгой, корожистый...»

Проню крепко шатнуло, и он едва устоял на ногах, уцепившись за леер. Грумант тяжело, по-человечьи, вздохнул, посыпалась с гранитных утесов снежная кухта, из ущелий потянуло дымом, словно бы там запалили большой костер, запахло гарью.

«Много ли живу на свете, а уж все другом, вот пес-от грумаланский и ворожит, чтобы не забывались», – бормотал Проня, настойчиво пристальностью вглядываясь в трагический Грумант, напоминающий мавзолей мирового владыки. «В древности, когда людей не было, на земле жили великаны-волоты», – говорил Проня с глубокой верою в свои слова. Всенародные сказители, краснопевцы жили именно с этим убеждением, что вспоминают тот мир, в котором жила, но недоступный всем прочим по малости их духа и ничтожности души, которой не

могут поверить, что все случившееся до них – сушая правда, и нет тут никакого сочинительства, умысла, проказы, дурного намерения сбить «мезеню» с христового пути и обратить к лукавому. Ибо нет в русском человеке большего страха, чем через чары, наваждение, искус, кощунное слово, колдовской напуск угодить под власть прелестника. Потому, наверное, и понимали Проню Шуваева из нижи как лучшего былинщика на северах, имеющего особый дар вывязывать исторические смыслы слов и раскрывать былое, лишь на время померкшее... может, тому виною была особенная манера исполнения, внешний изжитый вид, уже лишенный всего плотского, когда через слова проступает надмирная душа, утратившая всяких чувственных связей с землею...

«Да-да, жили у Скифского моря, на Мезени и Пинеге волоты (великаны), они пасли мамонтов, носорогов, баранов, которые были крупнее нынешних быков, – продолжил Проня. – Но тогда и земля была другая, зимы не было (как помнится), было тепло, но не парко, чтоб сожигало до кости, и деревья росли в самое небо и по ним можно было взбираться в райские палестины и отдыхать. Потому что небо жило низко, не как сейчас, земные и небесные жители, вся деревенская шатия-братия ходили друг к другу в гости, варили в огромных котлах пиво, жарили на вертеле баранов, отмечали кануны. А правил всеми на небе, на земле и на воде рачий царь, хотя никто его не видел, и не мог видеть, чудовище было ужаснее нашего батюшки Груманта. Взгляд сразу затмевался, и человек терял дух...

В старые времена среди жителей архангельского севера ходила легенда о рачьем царе – морском чудовище, повелителе морских зверей. Он обитал в пучине морской на самом дне между Маткой и Грумантом. Рачий царь иногда всплывал ночью из морских глубин и издавал громовые крики и стоны, от которых лед крошился и камни лопались. Он был таких исполинских размеров, что взглядом его невозможно объять. Случайная встреча с этим чудищем не сулила ничего доброго, даже корабли пропадали в его чреве».

Созонтовичу было не до сказок, пошел подменить подкормщика, как бы в конце пути не дать маху, рачий царь и ловит беззатейного поморца за руку в эти минуты и гнетет с собою в пучину: «Верить не верим, а в старинушку гоним», – так уверяют в Помезенье, крепко держась дедовой науки. Вот и Проня-баюнок о том же напомнил, вылез из казенки, когда приспели к Большим Бурунам во владения рачьего царя.

* * *

Вокруг Груманта много легендарной мифологии, сказок и поморских сказаний, о чем речь пойдет впереди.

«Среди утесов бухты Уэйлс-бей у подножия горы Уэйлс-хэд чернеет среди льдов скала. Она напоминает торчащую из воды голову человека без шапки. Может быть, об этой скале сложили поморы легенду о борьбе Груманланского Пса с чернокнижником-волхвом. Прилив роет ледяные пещеры, заботится океан о духе гор – Грумантском псе. Строят ему дворцы под землей упорные воды. Капля за каплей прорывают извилистые ходы во льдах. Своды их будут, пожалуй, потолще соловецких».

В XVI веке на мурманском побережье участвовали в звериных промыслах до семи с половиной тысяч русских судов и свыше тридцати тысяч русских промышленников. Капитан Барроу встречал их в 1556 году на Мурмане и близ новой земли.

Русские поморы-скифы-сарматы жили во времена чудовищ, великанов-волотов, и оттого, наверное, с таким бесстрашием брали ошкуя на острогу, спицу, копье и нож, а то и голоручьем, своим мужеством удивляя шведов и норвегов, со страхом взиравших на ужасных царей ледяной пустыни.

Сказочные оттенки столь многотрудной тяжелой жизни не могут быть придуманы зверобоями, несмотря на хваткий искрометный ум; если бы могли груманлане сочинять чудес-

ные истории, то не брали бы с материка сказочников и былинщиков, которые в долгие зимние вечера скрашивали их тяжкие будни, а сидели бы мореходцы у камелька и сочиняли приключения. Фольклор Груманта – явление необычайного быта полярных охотников из самой жизни, он интересен, как любопытна смертельная схватка человека и Арктики, кто кого оборет, но и их единство, проверка на стойкость и силу духа: тут были и свои духовники, герои-богатыри, и люди слабые сердцем, люди атаманистые, своевольные, дерзкие в желаниях, кто мог силою натуры и нескгибаемой воли приручить самые невероятные обстоятельства, коими так богата Арктика и извлечь пользу себе.

Кто-то из груманлан, погибая, пережил историю необычайную и, возвратившись в родные дома, справив привальное, приложившись к стопке белого или ковшу браги, начинал мужик вдруг вспоминать под хмельком, какое невероятное происшествие случилось с ним на Бурунах, – его рассказ поддерживала хмельная мужицкая ватага, и на одну необычную историю, смахивающую на завиральню, накладывалась другая, чем-то схожая. Как говорят, после долгого напряжения на промыслах душа вдруг отпотела и потекла, почуяв покой дорогой, близкие лица и душевное участие, и в этой словесной исповедальности и прорастала та красивая бухтина, которая вскоре займет свое место в истории родного края: «Надо же, пережил и не сломался, самого дьявола обошел и оставил с носом, и тот даже не почесался», – восхитятся за столом. Двенадцать иродовых дочерей зовут к себе скрасить жизнь, а он не поддался на их утехы, их блазни, иди, дескать, к нам в лодку, увезем с собою, будешь красоваться с двенадцатью девками на краю света, жить по-королевски! Забоюсь, что ли?.. Да нет, захотел на родину...

Вот эта необыкновенная история, случившаяся с земляком на Груманте, станет служить зверобоям не только духовным подспорьем, но и наукой, как преодолевать препятствия, а не распускать нюни: отсюда и берет начало наука побеждать. Но подобных историй в арктических морях с поморами-мезенцами (и не только) были тысячи, сотни поморов погибли от злобной Старухи-Цинги. Значит, мир мистический не пришел из сновидений, как бесплодное безутешное мечтание, но явился в помощь мореходу, чтобы он уверовал в многоцветье и вездесущность бога: пересилил минутную слабость, не поддался насыльщикам и чаровникам, настроил волю на победу, и ты уже на вольном коне хоть на край света...

Бог везде и всюду, и даже пралики и шишиги не из области поврежденного ума, но постоянные спутники невидимого живого мира, в котором от рождения и до смерти обитает человек вместе с жителями Зазеркалья. Только не отступайся от Бога, и он никогда не предаст тебя в трудную минуту. Демоны и шишиги, сатанаиловы слуги, – они всегда возле и цепляют тебя в подвздошье, если ты выпустил их из виду и утратил оборону; дьявольи слуги, наверное, не были придуманы, как и весь мир Зазеркалья (полудницы, берегини, русальницы и т. д.), а пришли в станowie из покинутой разволочной избы, где недавно скончался от цинги охотник, выплюнув с кровью последние зубы, из тоскливых бесконечных ночей, когда чего только не привидится в жуткой тьме: эти истории наслаивались одна на другую и постепенно обернулись в страшную правду о безжалостной Старухе-Цинге, пожирающей человечину. вот она, злобная Старуха-Цинга, плывет на лодке с красавицами-сестрами вдоль наволока, недалеко от становиья, где зверобой грузят коч, готовясь к отплытию на родину, и выглядывает своих жертв, уже готовых отдаться в ее руки: девицы хохочут, играют пьянящую музыку на скрипках, увлекают, заманивают к себе в карбас уже заболевших сухоткою, беззащитных мужиков, готовых ради одного мечтательного сновидения отдать душу злобной старухе, собирающей по Скифскому океану богатую смертную жатву. Но это не писательское сочинение, написанное со слов груманланов, его невозможно придумать, тем более помору, живущему изо дня на день в трагическом сражении за хлеб насущный. Зачем сочинять извилистые ходы сновидений, что живут краткий пьянящий миг и уходят вместе с охотником в ледяную могилу? Но если сочинял литератор, случайно угодивший на Грумант, то следы этого творчества, наверное, отложились бы в

романах шведов, британцев, норвегов, датчан: они, эти картины, слишком живописны, чтобы, однажды появившись, пропасть втуне.

Что-то запомнилось, наверное, от предыдущих зимовок, видения и соблазны тесно опутывали мир Груманта, наполняли теми чувствами, что невидимы бысть, но без них просто нет человека посреди дикой природы, где Бог живет на вершине гранитной горы в ледяном дворце, зверобои сознавали как мир невидимый, мистический, втягивающий в себя зверобоя. Без этих легенд мир Груманта умалился бы, усох в простой камень и перестал бы возбуждать интерес. Так появился Грумаланский Пес как соработник дьявола, чарующий промышленника, обещаая ему взамен изнуоряющих тягот легких денег, и дает их, но взамен забирает душу.

Как-то не хочется лишать Грумант трагической окраски и печальной красоты: ее не истереть с мрачных аидовых очертаний острова, ибо постоянно проступают с небес, морского простора, из ледниковых плато и каменных заостренных ветрами гор, отрогов и щелей лики усопших охотников, испускающих вопли, тем внушая невольный ужас. Условия сделки с дьяволом, с нежитью, чтобы заручиться на будущее легким успехом, – это распространенный отказ от господа, заручка угнетенного слабого человека с дьяволом, обещающим легкий успех; но русская сказка не встает на чью-то сторону, никому не дает выигрыша, как бы напоминает: христовенький, выбирай сам – или душа вечная с тобою, или кошель с деньгами, которые с первым солнечным лучом иструхнут вместе с твоими костями. Твое дело, как поступить, лишь очерти ножом круг, встань в его центр, воткни нож и жди петушиного возгласа, что Сатана явился, главный враг Господа при входе; с этой минуты ты соучастник дьявола, ибо легкомысленно поверил его обещаниям легкого успеха, еще не сознавая, что уже запродав душу Сатане, вручил ему нож, как покоренную силу, готов стоять за кривду на его стороне, когда закабалит душу свою за мирские слабости и сладости без тяжкого труда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.